



ТЕОДОР  
ДРАЙЗЕР

*Галерея женщин*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Азбука-классика

Теодор Драйзер  
**Галерея женщин**

«Азбука-Аттикус»

1929

УДК 821.111(73)  
ББК 84(7Сое)-44

## **Драйзер Т.**

Галерея женщин / Т. Драйзер — «Азбука-Аттикус»,  
1929 — (Азбука-классика)

ISBN 978-5-389-22135-2

Имя американского писателя Теодора Драйзера знакомо читателям во всем мире прежде всего благодаря его знаменитым романам, в числе которых «Сестра Керри» и «Дженни Герхард», «Гений» и «Американская трагедия», «Трилогия желания» и «Оплот». Между тем Драйзер был также и весьма плодовитым новеллистом. Его творческое наследие включает десятки блестящих рассказов и очерков. Во многом автобиографичные и подчас предвосхищающие темы и коллизии его романов, они наглядно подтверждают авторскую максиму: «Дело писателя – не судить, а понимать жизнь и рассказывать о ней». «Галерея женщин» (1929) – это пятнадцать абсолютно разных героинь, каждая со своей судьбой и жизненной драмой. Пятнадцать захватывающих историй, написанных рукой глубокого знатока человеческой природы, яркого, правдивого художника и увлекательного рассказчика. В настоящем издании «Галерея женщин» представлена в том виде, как она была задумана самим автором, причем большая часть рассказов публикуется на русском языке впервые.

УДК 821.111(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-389-22135-2

© Драйзер Т., 1929  
© Азбука-Аттикус, 1929

## Содержание

Рейна	7
Оливия Бранд	28
Эллен Адамс Ринн	50
Люсия	68
Часть первая	68
Часть вторая	76
Конец ознакомительного фрагмента.	79

# Теодор Драйзер Галерея женщин

Theodore  
DREISER  
1871–1945



© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2022

© Наталия Роговская, Александра Глебовская, Мария Литвинова, Эстер Березина, Вера Станевич, Михаил Загот, Никита Санников, Нина Жутовская, Елена Складенко перевод с английского.

## Рейна

Ее родители настолько не подходили друг другу, что их брак казался чем-то вроде мянги, сооруженной на скорую руку. Мягкосердечная, сентиментальная мать, без малейшей практической жилки, выглядела совсем не парой отцу-невротичу голландских кровей. Худосочный росток на полусгнившей ветви фамильного древа, он являл собой жалкое зрелище, хотя, возможно, в иные времена и в ином месте мог бы что-то собой представлять. Здесь же (я имею в виду маленький городок на американском северо-западе) он был слесарем, и по любым меркам довольно бестолковым. Он имел привычку подкручивать кончики усов и пару раз в год облачался во фрак. Считал, что умеет играть на скрипке. Любил рассказывать непристойные истории и искренне радовался, когда удавалось привести в смятение своих детей. Среди знакомых снискал репутацию труса, который держит в страхе собственную жену, но сразу тушует перед сильным полом. Будучи безалаберным по природе, он переложил бремя тягот реальной жизни на слабые плечи супруги, и она пыталась удержать семью на плаву, сдавая внаем меблированные комнаты.

Первое впечатление от человека в значительной мере предопределяет наше к нему отношение. Поначалу Рейна показалась мне глуповатой, но что-то все же мешало записать ее в полные дурочки. Маленькая лавандовая шляпка на льняных, коротко остриженных волосах (крашенных, разумеется) и лавандовый же шарфик в пару к ней свидетельствовали об отменном чувстве стиля, так же как и светло-серый костюм с юбкой всего на пару дюймов ниже колен. Она любила стоять по-мальчишески, широко расставив ноги и чуть запрокинув голову, блестя глазами, полными неподдельного интереса к жизни. Этого, по крайней мере, у нее не отнимешь – была она в высшей степени живой. Ну и невозможно было забыть ее бесконечные истории, безусловно вульгарные, но уморительные до крайности, так что оставалось только удивляться, как ей удавалось рассказывать их с абсолютно непроницаемым выражением лица. Могло показаться, что эти байки свидетельствуют о ее невзыскательном вкусе и порой даже о каком-то самоуничижении, однако в них не было ни малейшего следа пошлости, а скорее грубоватое, но здоровое чувство юмора простого человека. Можно сказать, она была неосознанно, а временами даже чарующе вульгарна, и тут нет никакого противоречия.

Рода, ее старшая сводная сестра, была бесспорной красавицей, образованной и утонченной. Несмотря на эффектную кинематографическую внешность, она оставалась милой и смогла сохранить очарование неподдельной простоты и естественности. В ней так и не появилось жесткости и напористого самодовольства, ее чувствительная натура нуждалась в умиротворяющей прочности родственных уз. Не следует забывать, что с тех пор, как Рода вышла замуж и покинула родной город, прошло почти пять лет. К этому времени и Рейна успела вступить в брак.

Не один месяц до нашего знакомства мне пришлось выслушивать, какая она замечательная, чтобы не сказать необыкновенная, девушка – юная, яркая, красивая, – какая она прекрасная наездница, как кипит в ней жизнь! Я прилежно внимал рассказам о ее любящем сердце и глубоких сестринских чувствах и терпеливо разбирался в перипетиях ее брака с молодым торговцем лесом.

Поначалу молодожены поселились в маленьком домике в одном из лесозаготовительных округов Вашингтона. Но Рейне, привыкшей к городским удовольствиям Спокана и Сиэтла, скоро прискучила глушь, и она сбежала, добравшись в служебном вагончике до железнодорожной станции в сорока милях от лесопилки.

Супруг, который, по-видимому, жить без нее не мог, разорвал все связи с местным лесозаготовительным бизнесом, приносящим ему четыре тысячи в год, и отправился за ней. За три года замужества она уходила от него еще дважды, каждый раз из-за недовольства способом

заработка, какой он имел несчастье выбрать. Оба раза он немедленно оставлял работу и следовал за ней, в надежде вернуть обратно. Вероятно, по своей душевной организации он был склонен попадать в зависимость от женщин такого сорта. Узнав ее лучше и уже прекрасно сознавая, какой пустышкой в некотором отношении она была и какой чумой египетской во всех отношениях могла становиться для определенного типа мужчин, я все же мог понять его непреодолимое влечение к ней. Она была здорова, энергична, насмешлива, молода, в конце концов, и, вполне возможно, являлась для него олицетворением самих этих качеств как таковых. Но если дела не клеились, поддержки или утешения от нее было не дожидаться, а вот критики и истерик – сколько угодно.

Я познакомился со Свеном, когда ему стукнуло двадцать пять. Это был молодой человек приятной наружности, амбициозный и в то же время деликатный и внимательный, хотя и без того лоска, который придает хорошее образование. Его отец, простой шведский крестьянин, не усматривал никакой пользы для своих детей даже в школьной грамоте; напротив, как мне рассказывали, считал школу баловством и пустой тратой времени. Свен, хотя и сбежал с фермы в пятнадцать, так и не избавился от грубого просторечия, к коему привык с малолетства. Его речь была густо пересыпана вульгаризмами, столь любимыми нашими грамматистами. Он, к примеру, мог сказать «лбжить» вместо «класть», «хочут» вместо «хотят», «кушать» вместо «есть» и тому подобное. Узнав, что его английский далек от совершенства, Свен стал больше молчать или подражал тем, в чьей грамотности был уверен, что было совсем не похоже на то, как повела бы себя в таких случаях Рейна. В своей области он был крепким профессионалом, прекрасно разбирался в лесе и на рынке древесины чувствовал себя как рыба в воде. Насколько мне известно, он был также умелым механиком, посвященным во все тайны автомобильных моторов, и при нужде вполне бы мог управлять гаражом. К тому же он принадлежал к тому типу юношей, которые многим готовы пожертвовать ради мира в семье.

Если у Свена с грамматикой было неважно, то у Рейны дела с ней обстояли совсем плохо. Ее речь заставила бы покраснеть шеридановскую миссис Малапроп. «Слышь, что вчера было-то. Отвал башки! Жаль, что тебя с нами не было. Я уж решила было, ну все, хана мне, ребята. Ты щас со стула свалишься. Идем, значит, мы со Свеном по Седьмой авеню, и с кем, думаешь, сталкиваемся нос к носу? С Монти! Вот те крест! Со стариной Монти собственной персоной. Обалдеть! Весь такой из себя шикарный, в моднячем пальто, фу-ты ну-ты, ложки гнуты! Видать, деньжат откуда-то привалило. И вот наш Монти, простой такой, начинает клеиться ко мне как ни в чем не бывало. Вообще не втыкает, что я замужем. Парнишку жизнь ничему не учит: хватить меня своей лапой, глазом не моргнув: „А куда это ты намылилась? А что это за чувак с тобой?“ Свен вылупился на нас, будто сожрать собрался. Ну, я по-быстрому давай их знакомить. Во картина маслом, ага? Я-то Свену по ушам ездил, что передо мной все на цырлах ходят. И на тебе – такая засада. Но я выкрутилась!

„Ты чего, с дуба рухнул? – говорю. – Вишь, вспомнил детство золотое. По мордасам схлопотать захотел? Вот мой супружник, Свен, знакомься“. Он что-то просек наконец: сразу заезжил как уж на сковородке. Ну и Свен оттаял слегонца, когда я ему лапшу стала вешать, что у папаши Монти денег куры не клюют и Монти ищет, куда бы их пристроить. Так они и начали что-то перетирать меж собой. Упасть – не встать! Причем Свен ведь ревнивый, как черт. Ну и представь, как я у него за спиной Монти двумя глазами мигаю: „Обалдел? Чего творишь, паскуда?“ Будь уверен, он у меня понял, что лучше лишний раз варежку не разевать. Лос-Анджелес – это тебе не Спокан. Поначалу-то я со страху чуть не обделалась. Уж мне ль не знать, как у Свена крышу сносит от злости. Отвал башки! Но он поверил, что мы с Монти еще со школы приятели, так что пронесло, слава тебе господи».

Вот такие истории мне приходилось выслушивать месяц за месяцем, и попытки исправить ее речь успеха не имели. Языковые нормы не впечатывались в ее мозг ни с помощью правил, ни с помощью примеров, ни с помощью навязчивых повторений. Она была способна

слушать беседу на совершеннейшем английском языке семнадцати виртуозов ораторского искусства и бесцеремонно влезть в нее с репликами типа: «А мы тут со Свеном парнишку одного видали, обалдеть...» или: «А я так со Свеном порешила...».

Рода, обладая незаурядной красотой, вышла замуж за выходца с Востока из северной части штата Нью-Йорк с довольно серьезным положением в обществе и неплохим образованием, но, оставив его в итоге, она выбрала, однако, куда более интересный жизненный путь. Но ее не переставала мучить совесть, что она бросила младшую сестру на произвол судьбы и та осталась неотесанной простушкой. Светскостью Рейна действительно не отличалась, с этим не поспоришь, но, бог мой, каким искрящимся, пылким, неистовым нравом она была наделена! Было несложно понять, почему мужчина, если он не борец за чистоту речи, может все-раз увлечься ею. У нее были дерзость и любознательность щенка колли или молодого вороненка. Ей до смерти хотелось роскоши и удовольствий, которые были доступны другим, но которые она сама едва пригубила. Вид маленькой старомодной квартирki сестры в Голливуде, с балкончиками, высокими французскими окнами, персидской кошкой и взбалмошной чау-чау, подействовал на нее, как стакан рома на запойного пьяницу. «Отвал башки!» – тут же вынесла она свой вердикт. И как из ведра посыпалось: «класс», «шик», «супер», «не кот начихал» – или даже «не кот нассал» (у меня язык не поворачивается повторить и десятую часть этих колоритных выражений).

Репродукция «Горшка с базиликом»<sup>1</sup>, украшавшая одну из стен, была «шикарной», хотя и подверглась критическому разбору:

– Ух ты! Да у нее ноги от ушей растут, класс. А платья такие сейчас никто не носит. Она, наверное, живет в дыре, где они еще в моде.

Обнаженная женская фигура на стенке аквариума тоже вызвала замечания:

– Вот это аквариум! Отвал башки! Видал такой когда-нибудь? А вот фигура у нее так себе. В Пантагесе актрисульки куда симпотнее.

– Дело в том, Рейна, – пояснил я, – что у художника не было достойной модели. Ему следовало бы поискать девушку, изящную, как ты.

– Ну и пришел бы ко мне. Я бы познакомила его с такими красотками, что он забыл бы родную маму.

То, что Роду раздражает наша с Рейной легкомысленная болтовня, даже если временами она кажется ей забавной, было ясно с самого начала. Она так много рассказывала мне о своей потрясающей сестре, которую не видела столько лет, а оказалось, что Рейна мало чем, а может быть, даже и ничем вообще не похожа на созданный Родой портрет. Скорее всего, образ, который услужливо подсовывала память, сформировался у нее в юные годы, когда ей и сравнивать Рейну было не с кем, тогда как теперь, набравшись жизненного опыта, она отточила способность суждения и стала, в общем-то, другим человеком. В результате Рода пришла в полное замешательство, не зная, как относиться к сестре, критиковать которую все еще не позволяли родственные узы и светлые воспоминания. К тому же ее не на шутку беспокоило, что я могу составить неверное представление о ней и ее семье, как оно отчасти и случилось.

Но с самого начала меня куда больше занимала загадка Свена. Как такой рассудительный и трудолюбивый человек мог не только увлечься девушкой типа Рейны, но даже жениться и следовать за ней по пятам, словно привязанный? Во всех передрыгах он сохранял спокойствие, был полон решимости поладить с женой и обеспечить всем, чего бы она ни пожелала, несмотря на всю ее взбалмошность и капризы. И это не переставало меня удивлять.

До брака и некоторое время после Рейна водила дружбу с девушкой по имени Берта, которая была для нее чем-то вроде талона на питание и камеристки в одном флаконе. Дополнительную ценность ей придавали яркая внешность и популярность среди мужчин – женские

---

<sup>1</sup> По-видимому, имеется в виду работа британского художника Уильяма Ханта «Изабелла и горшок с базиликом» (1856).

качества, которые для Рейны всегда стояли на первом месте. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что Берта была дочерью зажиточного владельца прачечной, у которого та всегда могла стрелкнуть денюжат. Она щедро делилась ими с Рейной, и этих денег, вместе с небольшими суммами, которые подкидывала Рейне мать, девушкам хватало на нехитрые развлечения. Так как их родной городок был маленьким и невзрачным, а до Спокана, Сиэтла и Такомы было рукой подать, подружки проводили дни, курсируя между этими населенными пунктами. Не сомневаюсь, что зачинщицей всех авантур являлась Рейна, которой было не занимать дерзости и отваги. Но почему все это позволяли их родители, было выше моего понимания. Я попытался выспросить об этом Рейну (как ее будущий историограф – ну, вы понимаете), и в конце концов она призналась, что, когда они оставались на ночь в Спокане, или Сиэтле, или Такоме, ее мать думала, что она ночует у Берты, ну а Берта для своих родителей просто выворачивала эту выдумку наизнанку.

Почти полтора года, включая и время перед свадьбой со Свенем, Рейна и Берта были практически неразлучны. Они вместе развлекались с кавалерами, хоть Рейна и уверяла, что лично она не преступала рамок приличия, ограничиваясь увеселительными автомобильными поездками, походами в рестораны, грошовыми подарками и другими грошовыми удовольствиями. За Берту она, однако, ручаться не стала. Часто обе они попадали в такие рискованные ситуации, выпутаться из которых стоило немалого труда. «Опасные похождения Полины»<sup>2</sup> в сравнении с их выходками показались бы невиннее детской возни в песочнице. Как я понял, особенно рискованными эти приключения делала склонность девиц усаживаться в машины к незнакомым юнцам и ехать с ними в уединенные, чтобы не сказать заброшенные места, где, разумеется, они получали предложения, которые Рейна (если относиться с доверием к ее словам) не имела желаний принимать. Так, однажды ночью, направляясь в такси из Такомы в Сиэтл, а это около тридцати миль, на пустынном отрезке дороги они были атакованы водителем и его другом, подсевшим к ним по пути. Уловка, с помощью которой им удалось сбежать, не для печати, но само происшествие, связанное с нештучным риском, представляет определенный интерес. Пrawdами и неправдами выбравшись из машины, они рванули с дороги в темную лесную чащу, побежали на свет из окна одинокого коттеджа в глубине леса и спрятались неподалеку. Шофер с другом, рыская по лесу в их поисках, прошли в футе от того места, где они схоронились, и едва о них не споткнулись. Девушки прятались у коттеджа всю ночь и только утром осмелились продолжить путь в Сиэтл.

Именно из-за щедрости Берты и ее неподдельного восхищения, а также из-за развлечений и безделушек, перепадавших Рейне в их эскападах, у нее в голове сложилось представление о жизни как о немудрящей игре, в которой всегда найдется кто-то, кто позаботится о ее благополучии. Ее интерес к Свену, когда он только появился на горизонте, частично базировался на этой философии. Но она так увлеклась им, что он смог сначала вклиниться в их с Бертой дружбу, а потом и вовсе разрушить ее. Тем не менее даже спустя три года, уже во времена нашего с ней знакомства, каждый раз, когда что-то приходилось ей не по нутру, она поминала Берту и старые добрые деньки их закадычной дружбы. Я думаю, именно Берту Свен не любил и страшился больше всего на свете.

Как типичная представительница адептов так называемой «сладкой жизни», Рейна представляла для меня немалый интерес. За ней стоило понаблюдать, когда она лениво обдумывала какую-нибудь будущую эскападу. Предоставленная самой себе, она могла часами валяться в необъятном плюшевом кресле или сидеть перед трельяжем сестры, полируя ногти, укладывая волосы в замысловатые прически, подкрашивая губы, румяня щеки, накладывая тени на веки или выщипывая брови. А то вдруг начинала примерять шляпки и платья Роды, вертясь перед

---

<sup>2</sup> «Опасные похождения Полины» – многосерийный приключенческий фильм, в 1914 г. снятый американским кинорежиссером Доналдом Маккензи.

высоким напольным зеркалом и время от времени подзывая меня или кого-нибудь еще для оценки очередного наряда. «Шикарно, да?» или «Классно, правда?».

Она могла проваляться в постели все утро, не обращая внимания на то, что делают остальные, и появиться в гостиной лишь после обеда или даже ближе к вечеру, готовая к развлечениям, которые должны были организовать Рода, или Свен, или ваш покорный слуга. Изредка, когда не получалось отвертеться, она принималась помогать Роде в приготовлении ужина, но была при этом настолько неловкой, что больше мешала, словно для того, чтобы предупредить дальнейшие просьбы.

Однако, как правило, у Роды не подавали ужинов, предпочитая проводить вечера в ресторанах. По правде говоря, Рейна любила рестораны гораздо сильнее, чем Рода. И именно Рейна, не имея за душой ни гроша, предлагала поужинать в ресторане. «Что скажете об этом местечке? Бывают ли там танцы? Говорят, отличный, просто шикарный ресторан». Что ж, ориентируясь на эти намеки, я и выбирал заведение.

По окончании ужина, несмотря на то что в то время они со Свеном находились в крайне стесненных обстоятельствах, переехав в этот город исключительно потому, что Рейна умудрилась разрушить карьеру Свена во всех других местах, она запросто могла предложить отправиться в театр, или в бассейн, или на концерт. То, что для этого были нужны деньги, которых у них нет, по-видимому, ничуть ее не беспокоило. Кто-нибудь да заплатит. И вообще, для чего нужны мужчины, если не для того, чтобы платить. Раз уж они смогли заполучить такую девушку, как она, так ведь? «Стопудово!»

Следуя своим принципам, она изо всех сил стремилась распотрошить мой кошелек. Надо отдать ей должное, меня она немало развлекала, хотя и ставила при этом Свена, который предпочитал вовсе не принимать приглашение, если не мог платить на равных, в весьма неловкое положение. Но все эти его душевные терзания вообще не принимались Рейной в расчет. Она жаждала развлечений, и до тех пор, пока они исправно поступали, она закрывала глаза на их источник.

Пока все это была, так сказать, прамбула, знакомство с нашими героями. Сама история, свидетелем которой я стал, началась, когда молодая пара поселилась в Лос-Анджелесе. Очаровательная голливудская квартирка Роды стала для Рейны источником раздражения и зависти. Ей не нравилось ничего, что мог предложить ей Свен, а предложить в то время он мог очень немного. Рейна сделалась постоянной гостьей в доме Роды, не особенно заморачиваясь по поводу приглашений с ее стороны. Ибо разве не была Рода ее сестрой? А для чего еще нужны сестры, скажите на милость? К ее счастью, Рода относилась к тому типу людей, для которых кровное родство было отнюдь не пустым звуком, и ей в голову не приходило, что Рейна нуждается в каком-то приглашении. Когда бы Рейна ни явилась в гости, ее встречали с распростертыми объятиями, и, по моему мнению, это было большой ошибкой. Потому что нельзя было сбрасывать со счетов чувства Свена. Как ни крути, а Рейна определенно кое-что ему задолжала. Однако о Свене она думала меньше всего. Не считаясь с его желаниями, собственными брачными обязательствами и несмотря на очевидное отсутствие той совершенной красоты, которая делала ее сестру столь востребованной на многочисленных съемочных площадках, именно она, а не Рода решила, что просто создана для работы в кино. Сестра с энтузиазмом ее поддержала. Ну а почему бы и нет? Разве она не нравится мужчинам? Или она глупее остальных? На съемках Рода зарабатывала две или три сотни в неделю, а иногда и больше. Почему бы ей, Рейне, тоже не припасть к этому живительному золотому источнику? Между ней и ее мечтой стояли только, во-первых, Свен, вернее, ее супружеские и домашние обязанности, которые она и так никогда не выполняла, и, во-вторых, мелкие трудности, с которыми когда-то пришлось столкнуться и Роде. А значит, как и Роде, ей придется начать с самого низа, скорее всего, в дополнительном составе, а это семь с половиной в день, а не сорок и пятьдесят, как теперь получает Рода. Необходимо будет вставать спозаранку, в шесть или в семь, и быть в студии не позже

чем в восемь тридцать, полностью готовой к выходу. Ну и самой обеспечивать себя одеждой и косметикой, не забывая демонстрировать горячий интерес к любой самой завалывающей роли.

Все эти соображения подействовали на Рейну как ушат холодной воды. Увы, она была из тех людей, что не способны ни на какие конструктивные усилия, паразиткой по самой своей натуре, а от этого недуга, похоже, не существует лекарства. Ее разум не был созидательным ни в малейшей степени, словно бы в ней вовсе отсутствовала потребность в творчестве, в создании чего-то на благо себе или окружающим. В ее мире вещи не были произведены на свет с помощью сознательных усилий, они просто случались. И самой важной вещью была удача, удача и множество подарков, которые приходили вместе с ней. У Рейны в голове не укладывалось, что кто-то может по собственной воле пытаться достигнуть чего-то путем скучного, утомительного труда. Кто поверит в такую чепуху? Все это лишь трескучие фразы! Жизнь должна состоять из солнечного света, лазурного моря, пляжных ажурных тентов, мороженого, ужинов на веранде, автомобильных прогулок, нарядов по последней моде, танцев до рассвета и жизнерадостных друзей. Все, что не похоже на вечный праздник, не что иное, как грязный трюк либо со стороны природы, либо со стороны мужчины, что бывает гораздо чаще. Мужчина, который удостоился брака, должен предоставить все вышеперечисленные пустяки незамедлительно, в противном случае он бесполезен и глуп как пробка. Состоятельным родственникам тоже пристало делиться благами, иначе в чем вообще смысл родства? Богатенькие счастливики должны в лепешку расшибиться, чтобы доставить радость своим родным и близким, особенно тем, кому не так повезло. В этом и заключалась философия Рейны; она выражала ее открыто, и слова у нее не расходились с делом. Хотя надо признать, когда все шло, как ей того хотелось, она могла вести себя обворожительно.

Но несмотря на эти особенности характера, стоило Рейне выразить желание проявить себя на поприще, на котором подвизалась сестра, та немедленно предложила организовать встречи со всеми знакомыми режиссерами и ассистентами. Хотя и предупредила, что карьера в киноиндустрии отнимает много времени и, если не приложить специальных усилий, может разрушить ее брак. Ну, что касается Свена, Рейна никогда не считала его препятствием ни для чего, так что совет сестры она пропустила мимо ушей. Рода также пыталась внушить ей, что знакомства с серьезными людьми в кинобизнесе – это золотой ключик для того, кто хочет сделать карьеру в кино, и Рейне стоит выложиться по полной. Тем не менее, за исключением одного или двух утренних посещений студии вместе с Родой, когда Рейне не пришлось просыпаться для этого ни свет ни заря, увещевания сестры были ею проигнорированы. Такие до ужаса ранние подъемы были выше ее сил. Кроме того, хотя она была предупреждена, что ей придется сталкиваться с пренебрежением, обидной критикой, а возможно, и откровенной грубостью и попытками грязных манипуляций со стороны тех, кто хоть каким-то боком причастен к большой киноиндустрии, начиная с шестого помощника швейцара, до Рейны, похоже, это так и не дошло. Ей на пальцах объяснили, к примеру, что если кто-нибудь из режиссеров или актеров, да кто угодно из кинотусовки, решит строить ей куры, то наобещает с три короба, чтобы снискать ее расположение, но не стоит обращать на это ни малейшего внимания. Можно попробовать отделаться шутками от назойливых ухаживаний, но если не получится и это станет совсем уже невыносимым, что ж... придется делать ноги. Понадобилось несколько эпизодов, довольно рискованных для Рейны, чтобы она наконец полностью излечилась от иллюзий.

– Что? Чтобы я бегала за кем-то из этих уродов? Вот еще! Целый день просидишь в приемной, прежде чем хоть кого-то увидишь. Ну уж нет, со мной этот фокус не пройдет. Я сразу объяснила им, кто я такая и от кого пришла, и что ты думаешь, помогло мне это? Черта с два! Этот маленький мерзавец у ворот «Метро Студио» выпучил на меня глазенки и не сподобился даже записать мое имя. Заявил, что мистер N занят. И тот зазнайка в Ласки повел себя тем же макаром. В жизни не сталкивалась с подобной наглостью!

Она еще долго живописала, что бы сделала с любым из них, пожелай они на самом деле с ней развлечься. Эти недомерки думают, что им что-то обломится из-за их жалких связей в студии? Как же, держи карман шире! Ну, если человек ведет себя как нормальный парень, относится к девушке с уважением, пытается умастить ее, пригласив поужинать или покататься на автомобиле, да к тому же клево выглядит, тогда, конечно, другое дело. Иногда такие парни могут оказаться очень даже ничего...

Слушая Рейну, я помирал со смеху и нарочно подначивал ее, вызывая настоящий фейерверк чувств и эмоций: ярость дикой кошки, вулканические выбросы страсти, фантазии, выходящие за все разумные границы, и за всем этим чувствовалась неумемная, какая-то варварская жажда жизни.

От одного своего решения она все-таки не отступила, разумеется от самого безрассудного. Свену было объявлено, что он должен снять квартиру в Голливуде. И не имело значения, что аренда за крохотную меблированную квартирку варьировала здесь от семидесяти пяти, за фактически конуру, до двух, а то и трех сотен за что-то более приличное. Свен, который, полагаю, немало натерпелся от ее капризов в прошлом, как раз собирался снять небольшую квартиру в центре города, где квартплата была не в пример меньше и можно было пристойно жить даже на его зарплату в сорок долларов в неделю. Он подыскивал другую работу, получше, но пока служил ночным сторожем в гараже.

Я присутствовал при том, как он предупреждал жену через сутки после их прибытия:

– Не забывай, Рейна, у нас сейчас не так уж много денег, и мы должны быть осмотрительными. Нам не сдадут квартиру в Голливуде за спасибо.

Само собой, место, где они поселились, было совершенно не в ее вкусе. Ну что за унылое убожество? Неужели Свен не мог найти что-нибудь попроще? Мужчина он, в конце концов, или нет? Зачем он вообще женился?

Она лишь краем глаза успела увидеть Голливуд и сразу поняла, что должна здесь остаться, а он обязан ей это обеспечить – любым путем. В противном случае пусть не рассчитывает на сладкие улыбки.

Пытаясь заработать, Свен бился как рыба об лед, Рейна же пальцем о палец не ударила, чтобы облегчить финансовые тяготы семьи. Не зная, на ком выместить досаду, она уныло слонялась по голливудской квартире сестры, пока та пропадала в студии. Ночами, когда Рейна спала, Свен мыл и ремонтировал машины и следил за гаражом, который был открыт круглые сутки. А это значит, что на сон у него оставались лишь дневные часы.

Можно было ожидать, что Рейна станет с большим сочувствием и теплотой относиться к самоотверженно работавшему мужу. Однако такое трудолюбие не вызывало у нее ничего, кроме раздражения, поскольку она приписывала его тупости и упрямству.

Ну почему он не сподобился устроиться на дневную работу? Какой прок от мужа, пропадающего на службе по ночам, когда все вокруг трудятся днем? Ему вообще незачем было устраиваться в гараж, ведь он умеет делать множество других вещей. А если не умеет, то должен научиться.

Тщетно усердный и миролюбивый Свен пытался объяснить, что из-за неотложной нужды в деньгах ему пришлось ухватиться за первую попавшуюся возможность. Она наотрез отказывалась это понимать.

Время не ждет, по крайней мере, Рейне ждать не хотелось. Свен должен поторопиться и обеспечить ей наконец достойную жизнь. Она и так изнывала от зависти к обеспеченной сестре. А тут еще вся голливудская ночная жизнь проходит мимо, потому что Свен должен тащиться на работу. Утром же, когда так сладко спится, он вваливается в квартиру, и весь сон с нее как рукой снимает. Тот факт, что он в силу своей деликатности возвращался домой уже после завтрака, вообще не принимался во внимание. Он сам выбрал ночную смену, причем за

сущие гроши, вместо того чтобы, как все вокруг, работать днем. Пора найти место, где можно заработать больше. Вот и весь разговор.

Как-то, в самом начале их жизни в Лос-Анджелесе, беседа с Родой, он упомянул, что именно из-за Рейны ему пришлось согласиться работать за такую скудную плату. Она просто ни в какую не хотела жить там, где он мог получать приличные деньги. Ей и в голову не приходило потерпеть, пока он приобретет достаточную квалификацию и заведет собственное дело, на что он возлагал большие надежды.

В результате Рода, сочувствуя Рейне – ведь та была так молода и так хотела радоваться жизни, но никогда не имела для этого достаточно средств – и в то же время переживая за Свена, всей душой стремилась наладить их семейную жизнь и просто завалила полезными советами. Рейна должна быть более внимательной к Свену. Свен, в свою очередь, должен попытаться найти дневную работу: неправильно оставлять жену одну на всю ночь. Чтобы облегчить им жизнь, она даже презентовала Рейне сотню долларов на булавки, а Свену предложила в долг сумму, которая бы позволила им продержаться, пока он не найдет хорошего места, желательно в сфере торговли лесом, где он был большим специалистом. Она также уговорила его снять квартиру получше, пообещав компенсировать разницу. А если он разыщет стоящую компанию, в которую можно вложить деньги, она с радостью войдет в долю. Ну и, встав на ноги, он должен обязательно приобрести автомобиль, чтобы они смогли увидеть мир, который внезапно стал их домом.

Свен, преисполненный искренней благодарности, из кожи вон лез, пытаясь как следует использовать неожиданную удачу. Дневные часы, предназначенные для сна, он стал тратить на поиск и изучение всех рекламных предложений в своей области. В конце концов он смекнул, как проверить весьма хитроумное дельце с немалой выгодой для себя. За инвестированную сумму в тысячу долларов наличными и успешную продажу некоторого количества акций, а также покупку в рассрочку каких-то акций для себя Свен мог претендовать на правовой титул и вступить в должность секретаря лесозаготовительной компании. В случае успеха он получал дубовый письменный стол и табличку с собственным именем на двери кабинета, а также зарплату в шестьдесят пять долларов и мог приступить к своим обязанностям без промедления. Получив одобрение Роды, Свен с энтузиазмом взялся за работу, сосредоточившись на выполнении своей части контракта. Надо сказать, он был просто создан для дел такого сорта, так что сразу проявил в них изрядную сноровку. Он тут же начал планировать строительство серии небольших жилых домов, чтобы продать их по три тысячи, что принесло бы ему и его компании почти тысячу прибыли. Свен не сомневался, что реализация этого плана сулит ему с Родой солидный барыш. Она никогда не пожалеет, что помогла ему. И я уверен, что тогда Свен в этом ничуть не сомневался.

Жаль, что вы не видели Рейну, когда планы Свена из стадии обдумывания перешли в стадию осуществления или сразу после того, как он приступил к обязанностям секретаря и они переехали в трехкомнатные апартаменты в район с беседками и подстриженными газонами. Ах, что за виды из комнат! А какой вокруг воздух! Рода просто упивалась новым для нее чувством уверенности и превосходства. Свен теперь стал секретарем и совладельцем лесозаготовительной компании. Они жили в просторной квартире с балконом на самой границе с Голливудом. И у них был маленький автомобиль, подержанный, но вполне приличного вида, потому что Свен собаку съел во всяких автомобильных делах. И вот представьте себе, вместо того чтобы хоть как-то разделить интересы мужа, единственное, что занимало Рейну, – это как они будут развлекаться. Сперва они, конечно, должны прокатиться в Санта-Барбару, потом – в Биг-Бэр-Лейк, а также в Риверсайд, а также в Сан-Франциско, ну и разумеется, в Бейкерсфилд. И разве не было бы чудесно обзавестись пианино или новой виктролой?<sup>3</sup> Ах, и Рода

---

<sup>3</sup> Вид граммофона, который размещался внутри деревянного корпуса; выпускался в начале XX века американской фирмой

может прийти в гости и привести кого-нибудь из своих друзей, и можно будет протанцевать всю ночь!.. И прочее в таком же духе. Все, как обычно, для Рейны – и ничего для Свена. Однако я никогда в жизни не видел человека счастливее его в то время. По признанию Рейны, он вставал с петухами и возвращался домой затемно, зато всего за несколько недель смог продать немалое количество акций. К тому же у него была способность быстро просчитывать выгодные варианты отгрузки и отправки, пока другие, не торопясь, продавали древесину, заказанную у компаний с севера. Его единственной ошибкой, если это вообще можно назвать ошибкой, было желание погасить свою долю акций как можно быстрее, чтобы они с Рейной ни в чем не нуждались в следующем году. Самонадеянно было полагать, что Рейну можно убедить или уговорить, апеллируя к доброте душевной, помочь или хотя бы не мешать ему в его начинаниях.

Совершенно очевидно, что это были бы пустые мечты. Мне никогда не приходилось встречать молодую жену, которая помогала бы своему амбициозному мужу меньше, а требовала бы от него больше, чем Рейна. Киношный дух Голливуда и сладкое летнее настроение безделья Лос-Анджелеса в целом, казалось, проникли в ее кровь и сделали не способной ни к чему, кроме поиска удовольствий. Вся ее жизнь свелась к посещению модных магазинов рядом с домом или поездке в гости к сестре, где она если не придумывала, куда пойти развлечься вечером, или не вертелась перед зеркалом, наводя красоту, то сидела за пианино и с мелодраматическим надрывом пела сентиментальные песенки вроде: «Мой старый добрый друг, почему ты молчишь?», «Макушлы», или «Авалона», или другой слащаво-романтической чепухи. Нередко, пока муж вкалывал на работе, с сестрой, а то и со мной в качестве сопровождающего она беспечно отправлялась в бассейн, на верховую прогулку, в приморский ресторан или покататься на автомобиле. О Свене она в таких случаях не вспоминала, а если кто-то упоминал его имя, махала рукой и строила скучающую гримасу, словно в ее жизни он не имел никакого значения.

Но стоило упрекнуть ее в этом, как и вообще в пренебрежительном отношении к мужу и браку, она начинала с жаром все отрицать. Сначала она просто уверяла, что вовсе не равнодушна к нему, потом сменила тактику и стала жаловаться на его ворчливость и заикленность на своем скучном мирке. Все, что ему нужно, – это работа, только работа, и никаких развлечений! Ну почему он не может выкроить время для того, в чем нуждается она, – для отдыха и веселья? Наконец она признала, что оба они сильно изменились. Свен уже не был таким неунывающим и неугомонным, как раньше. Он погряз в служебных делах, и они заменили ему весь мир, стал скрягой, привык считать, что ее единственное предназначение – дожидаться его возвращения со службы. В ответ на мою ремарку, что он пытается завоевать для них место под солнцем, а это совсем непросто при сложившихся обстоятельствах, она принялась с жаром расхваливать его трудолюбие и, казалось, была склонна обвинять в семейных неурядицах себя. Она «догадывалась», что не создана для брака, потому что не способна вынести всю эту скучную обыденность. Иногда ей казалось, что она обожает Свена, просто с ума по нему сходит, а иногда – что ненавидит его лютой ненавистью. Порой он бывал очень противным, уверяла Рейна. Однажды они поругались, и он угрожал ее ударить или даже ударил, а она швырнула в него чем-то и повредила глаз. В другой раз он ее ударил, когда они поссорились из-за того, что она куда-то пошла, невзирая на его запрет. Теперь он хочет, чтобы она жила по его правилам, пока он не встанет на ноги, а ее это совершенно не устраивает.

Бессмысленность постороннего вмешательства в любовные неурядицы несчастных супругов была слишком очевидной – в комментариях их отношения не нуждались. Я не отваживался давать советы и не пытался уговаривать и, пожалуй, не был сильно удивлен, когда однажды утром на пороге дома Роды возникла Рейна и объявила, что они со Свеном «расплевались» и у нее больше нет никаких сил жить под одной крышей с этим старым занудой. Уж

лучше она заложит свои кольца и уедет к матери в Спокан, куда та недавно переселилась. Там они с Бертой всегда найдут чем заняться. Как я подозревал, она втайне надеялась, что Рода этого не допустит. И она не ошиблась. Встревоженная Рода предложила на несколько дней поселиться у нее или остановиться в гостинице, а Свену намекнуть, что она уехала на север, и посмотреть, что он предпримет. Рейна должна была написать письмо и отправить из Сан-Франциско, словно бы по пути на север. На самом же деле Рода выделила ей небольшую сумму для оплаты номера в ближнем отеле. Когда Свен вернулся домой, он обнаружил письмо, какое только Рейна и могла сочинить: поразительную нелепицу, состряпанную в присутствии Роды. В нем Рейна сообщала, что ушла от него и никогда не вернется. Что забрала все свои вещи. Что нет нужды беспокоить Роду, потому что к ней она не поедет. Думаю, этим письмом Свен был не на шутку обижен, а сама Рейна, очевидно, понятия не имела, чего хочет.

Тем не менее Свен побеспокоил Роду, причем незамедлительно. По натуре он был доверчив как ребенок и совершенно не понимал женщину, на которой женился. Как ни удивительно, но, несмотря на причуды этой глупой, взбалмошной девицы и на очевидное равнодушие к его благополучию, Свен сохранил привычку заботиться о ней. Разумному человеку от такой нелепицы оставалось только хвататься за голову.

Свен нанес визит Роде вечером и попытался выяснить, не у нее ли прячется Рейна. Я видел по его глазам, что он очень на это надеется. В свойственной ему прямолинейной манере он изложил все, в чем провинился. Он любит Рейну, всегда любил и всегда будет любить, но ей ведь известно состояние его финансов. Она знает, как много он трудился перед приездом в Лос-Анджелес и по какой причине мало чего достиг. Каждый раз, когда дела у него на новом месте начинали налаживаться, в нее словно бес вселялся и она от него уходила. В этот раз все произошло точно так же. Не успел он найти дело по душе, как она сбежала. Главное сейчас было выкупить его акции, чтобы проценты с них достались ему, а не пошли на уплату его долгов. Проблема была в том, что он попытался покрыть все расходы из своей зарплаты в шестьдесят пять долларов, а этого оказалось недостаточно. Рейна имела привычку в мановение ока тратить все, что он зарабатывал, и даже сверх того, тогда как ему хотелось сохранить что-то на черный день.

Лично мне было его жаль. К тому же я относился к нему с уважением, как, впрочем, и Рода. К моему глубокому удовлетворению, она ухватила суть дела и явно ему сочувствовала. Хотя родственные узы значили для нее немало, ей хотелось, чтобы Свену помогли и чтобы помогла ему именно Рейна. Взяв на себя сложную задачу по поиску компромисса, она вступила в долгую и утомительную беседу со Свеном. И речи быть не может, чтобы Свен оставил нынешнее место работы, которая подходит ему, как никакая другая. Но если он хочет, чтобы Рейна к нему вернулась, он должен пообещать, что будет мягче с ней обращаться. У нее никогда в жизни не было ничего своего, страшно представить, каково это для девушки. Понятно, что в Голливуде, с его показной роскошью, ее душит зависть и она чувствует себя глубоко несчастной. Не мог бы Свен снять квартиру еще немного просторнее?

Свен всегда относился к Роде с симпатией, восхищался ее здравым смыслом и красотой, кроме того, был безмерно благодарен ей за помощь. Он обещал, что, если Рейна вернется и станет относиться к нему нежнее, он, в свою очередь, тоже постарается вести себя лучше. Он найдет другую квартиру и даже купит новую машину. Он как раз заметил подходящую – «бьюик», который можно было бы сторговать за пару тысяч долларов, и тогда они с Рейной смогут путешествовать с большим комфортом. Возможно, он далеко не идеальный муж, но он старается делать карьеру именно ради нее, Рейны. Свен ушел, полный надежд на будущее, хотя Рода так и не призналась, что знает, где скрывается сестра.

Не успел Свен удалиться, как прибежала Рейна, которой не терпелось услышать, что сказал муж. Поначалу вид у нее был довольно вызывающий, но когда она поняла, что в этот раз Рода не на ее стороне, с нее вмиг слетела бравада. Ее мозг, казалось, был способен вместить

только одну мысль: пока Свен у нее на коротком поводке, она сможет вытирать о него ноги, как о дверной коврик, сколько пожелает.

– Возьму и запрету ему... – начала она. – Пусть не думает, что может вести себя так, будто я дешевка какая.

– Не «запрету», а «запрещу», Рейна!

– Ой, ну ладно, запрещу. Мерзкие, убогие комнаты у черта на куличках! Жратва из кафетериев! Я просто не могу этого больше выносить. Раз он теперь зашибает хорошие деньжата, может и раскошелиться. А то вообразил, что я всю жизнь буду прозябать в нищете.

Но поскольку в этой ссоре симпатии Роды явно принадлежали Свену, а Рейна как-никак полностью зависела от ее расположения, компромисс был достигнут. Иначе пришлось бы выполнять угрозу и уезжать из Голливуда, то есть сделать как раз то, чего она всеми силами старалась избежать.

После непродолжительной и насквозь фальшивой сцены, которая должна была убедить Свена, что Рейна действительно направлялась в Сан-Франциско и лишь мольбы Роды ее от этого удержали, Рейна вернулась к мужу, и счастливый супруг отныне изо всех сил старался ей угодить. Свое воссоединение они отпраздновали на обеде у Роды, где вели себя как пара воркующих голубков.

Но как только интерес Рейны к новому жилищу поулегся, она опять стала коротать время в голливудской квартире Роды, по большей части, как и раньше, витая в эмпиреях. Рода работала на износ, чтобы повысить актерское мастерство, расписывая дни буквально по часам: занималась танцами по Дельсарту, посещала уроки вокала, обучалась искусству макияжа и созданию сценического образа, обивала пороги киностудий. А Рейна проводила дни в грезях, игре на фортепьяно в ожидании вечера, когда они с Родой смогут пойти в ресторан.

Я часто задавался вопросом, что обо всем этом думает Свен? Разумеется, Рода, заботясь о благополучии парочки, делала все, что могла, пытаясь сгладить шероховатости. Всякий раз по возможности она приглашала Свена к себе на ужин, или на автомобильную прогулку, или отдохнуть на уик-энд в каком-нибудь уютном пансионате, несмотря на то что Свен яростно отказывался от всего, на что не смог бы ответить равным образом.

Было совершенно очевидно, что, хотя Рейна и продолжала требовать от Свена блага, которыми, при всем старании, он пока не мог ее обеспечить, свою часть сделки, то есть супружеские обязанности, она выполнять не спешила. Внимание других представителей мужского пола – вот что занимало ее куда больше, а также деньги, которые они могли бы на нее потратить. Бывали вечера, когда Свен задерживался в офисе, и если Рода была свободна, Рейна могла убедить ее куда-нибудь прогуляться, обычно – в плавательный бассейн, где толпа скусающих ловеласов не скупилась на внимание к девушке в привлекательном купальном костюме. Как правило, не приходилось долго ждать, пока Рейна начнет флиртовать с каким-нибудь смазливym юнцом или мужчиной постарше, пользуясь счастливой возможностью продемонстрировать свою далеко не заурядную фигуру. И если Рода не возмущалась, она могла даже исчезнуть из бассейна на час или два, чтобы посидеть с очередным поклонником в ресторане или кафе-мороженом. Роде не хотелось ссориться с сестрой из-за этого; она чувствовала, что Рейна боится, не сделала ли она ошибку, вернувшись к Свену, и просто ищет возможности расслабиться. Но все же, как показало время, все это повлияло на ее отношение к сестре. Я думаю, Рода убедилась, что Рейна просто не создана для брачных уз.

Тем не менее в основном, конечно, благодаря Роде, ее очарованию, уютной атмосфере, которая ее окружала, положению в кинематографическом мире, а также, не в последнюю очередь, из-за ее финансовой помощи в его бизнес-начинании Свен какое-то время игнорировал, а вернее, терпел пренебрежение, с которым к нему относились. Но однажды даже его чаша терпения переполнилась. Поздним субботним вечером в семье Бергстром разразилась буря, и в тот же вечер Рейна появилась в жилище сестры, трясясь от истерических рыданий.

– Что случилось?

Оказалось, Свен устроил скандал из-за ее позднего возвращения, хотя и сам задержался на работе допоздна, он сказал... Ну и так понятно, что он мог сказать. Но среди прочего он заявил, что, если ее поведение не изменится, причем радикально, все кончено. Она может идти, куда пожелает, а он пойдет своим путем. Он устал быть посмешищем. Кто из них подаст на развод, ему безразлично. Пусть решает сама. Но если она незамедлительно не даст твердого обещания, что станет вести себя по-другому, то может катиться на все четыре стороны, или он...

Воспоминания о прошлых победах были еще свежи в ее памяти, все эти разрывы и воссоединения в один миг промелькнули у нее перед глазами, и она сделала то, что всегда делала в таких случаях, – разумеется, убежала, чтобы он еще раз убедился, что не сможет без нее обойтись. Она-то знала, что не сможет. Помчится за ней как миленький, умоляя, чтобы она вернулась.

Но в этот раз от Свена не последовало никаких панических телефонных звонков с попытками выяснить, не у сестры ли Рейна. Более того, пауза затянулась, так что в поведении Рода все сильнее стали чувствоваться напряжение и недовольство, а Рейна все никак не могла успокоиться и трещала без умолку: Свен такой-сякой, и сказал не то, и сделал не так. Я поверить не мог, что кто-то может настолько плохо разбираться в человеческой природе, чтобы думать и действовать, как она, а потом обвинять в чем-то своего ближнего.

К счастью, Рода теперь стала вести себя совсем по-другому. Кровные узы кровными узами, но она наконец поняла, что Свен далеко не во всем был не прав. Рода не прозрела именно в тот вечер, но спустя несколько дней, в течение которых Рейна индифферентно валялась в постели, ожидая, когда с повинной головой явится Свен, она осторожно завела с сестрой разговор о планах на будущее. Либо Рейна должна решить, что будет делать дальше, либо пусть оправляется к матери. Все вокруг зарабатывают на жизнь, с чего бы ей быть исключением?

– Ты не должна надеяться, что, раз я твоя сестра и я люблю тебя, – пыталась втолковать ей Рода, – я могу тебя содержать. Я не могу и не стала бы, даже если б могла. Не думаю, что это пошло бы тебе на пользу. Ты достаточно взрослая, чтобы решить, чем заниматься. Раз ты не намерена жить со Свеном, придумай, какого сорта работу ты хочешь выполнять, и попытайся ее найти. Я помогу тебе в этом с радостью. Главное, чтобы ты не бездельничала в ожидании, пока за тобой приедет Свен.

Рейна со злостью возразила, что она вовсе не ждет Свена и ничто на свете не заставит ее вернуться к нему. Она засобиралась на север, даже написала Берте и матери. Дни тянулись за днями, а Свен не появлялся. Рода относилась к ней со всем терпением, которое один человек может проявить по отношению к другому. Она выдержала еще неделю и опять попыталась убедить сестру, что глупо дожидаться мужчину, который явно в тебе не заинтересован. Раз она обращалась с ним неважно, то не стоит надеяться, что он будет ей всецело предан. Она должна найти работу или устроить так, чтобы Свен ее каким-то образом обеспечил, по крайней мере до тех пор, пока она не сможет обеспечивать себя сама.

Каково же было мое удивление, когда после всего, что произошло, и при, казалось бы, наплевательском отношении к случившемуся, я услышал, как Рейна, дождавшись, пока Рода выйдет из комнаты, звонит в Северную и Южную лесозаготовительную компанию и спрашивает, может ли она поговорить с неким Свеном Бергстромом. Свена на месте не оказалось, и Рейна, совершенно не заботясь, что я о ней подумаю, позвонила через некоторое время еще, а потом еще и еще, пока наконец он не взял трубку. Насколько я понял из ее сбивчивых реплик, она хотела с ним встретиться, но выражала свое желание весьма замысловатым образом. После, по-видимому, легкого поощрения с его стороны и бесконечных намеков и экивоков она все-таки выдавила из себя, что где-то в районе шести вечера собирается прокатиться в центр города и, если он окажется в тех краях, будет рада с ним повидаться. Телефонный разговор завер-

шился, и я насмешливо припомнил ей, как решительно она собиралась бросить мужа и сколько шпилек отпустила по его адресу. Она спокойно ответила, что мнения своего не изменила, но ей нужны деньги, а он может их предоставить. И легко он от нее не отделается. Пусть платит, пока она не найдет работу.

Чтобы передать весь сумбур, нелепость и нелогичность ее рассуждений, мне пришлось бы посвятить сто страниц дословной расшифровке бесед между ней и Свеном, который всеми силами пытался их избежать. Суть этих бесед, точнее по большей части ее монологов, была простой: хоть на Свена ей наплевать и возвращаться к нему она не хочет, ей нужно на что-то жить, и лучше бы он помог ей, не дожидаясь, пока она подаст на развод. Но по тому, как она это говорила, каждому должно было стать ясным, что в глубине души ей совсем не наплевать на Свена, а ее уверения в обратном – неуклюжая уловка. Менялся даже ее голос: в нем появлялись воркующие, уговаривающие и даже умоляющие интонации, что, по ее мнению, должно было подействовать на Свена должным образом. И тут же, сразу после воркования по телефону или немного спустя, она могла заявить, что испытывает к мужу лютую ненависть. К тому же она завела привычку беззастенчиво флиртовать с мужчинами, которые проявляли к ней интерес, следовали за ней в своих машинах и просили о свидании. Время от времени, к большому огорчению Роды, ее высаживал у порога дома какой-нибудь фронт импозантной наружности, с которым она явно неплохо провела вечер. Ссоры между сестрами после подобных эскападов были весьма бурными, недвусмысленно указывая на то, что прежней Роды больше нет. Однажды Рейна отправилась в контору мужа и осталась там на ночь, после чего Рода, превратно истолковав ее отсутствие, просто выставила ее из дома. Рейна долго объясняла сестре, что была со Свеном, и даже предложила той позвонить ему, что, кстати, незамедлительно и было сделано.

Только после подтверждения со стороны Свена Рейна была пущена обратно, да и то от нее потребовалось признание, что она привязана к Свену и собирается к нему вернуться.

И она к нему вернулась – по правде говоря, это был самый простой выход из ситуации. Невероятно, но Свен был в восторге от ее возвращения. В это трудно поверить, но из песни слов не выкинешь. И опять появились новая, более удобная квартира и новый дорогой автомобиль.

Было что-то безнадежно компульсивное в поведении этой пары, как будто, вопреки своему чутью или здравому смыслу, каждый из них считал невозможным порвать с другим, и это не было потребностью в какой-то поддержке. Думаю, ей хотелось им командовать, и она никак не могла взять в толк, что ничего из этого не выйдет. Он же не хотел больше ей подчиняться, но и расстаться с ней был не в силах.

Но даже этому хрупкому равновесию пришел конец. А началось все с автомобильной аварии, которая произошла где-то за неделю до их окончательного разрыва. Новая машина, которую Рейна обожала и в которой непременно выезжала раз или два в день, столкнулась с трамваем и серьезно пострадала. Починка обошлась не меньше чем в четыре сотни долларов и заняла почти четыре недели. Хуже того, купленная взамен машина была гораздо более дешевой, потому что на дорогую денег уже не осталось. К тому же возникли проблемы со страховкой, потому что в аварии, как оказалось, был виноват не только второй водитель, но и Свен. Он сам в этом признался, оправдываясь тем, что был в тот момент встревожен и рассеян. Ко всему прочему машина была застрахована только частично, так как Свен все не мог выбрать время, чтобы должным образом заняться этим вопросом. К вящему неудовольствию Рейны, ей пришлось пересесть на более заурядное средство передвижения. Я часто спрашивал себя, повлияло ли это на финальную катастрофу. Как бы то ни было, Рейна превратилась в настоящую фурию, обвиняя Свена в бестолковости и даже в самой аварии. Она не переставала громко стенать по поводу рухляди, на которой вынуждена ездить. И все же Свен, на мой взгляд, был вежлив, внимателен и временами даже, казалось, чувствовал себя виноватым. Он выглядел довольно печальным, когда объяснял, как все произошло. О чем-то задумавшись, он

рассеянно повернул перед носом у следовавшего за ним трамвая, водитель которого просто не успел затормозить. Это откровенное признание, даже в дружеской компании, привело Рейну в ярость. Она сочла его полнейшим безумием. По ее мнению, Свен должен был полностью отрицать свою вину и подать в суд на компанию, требуя, как пострадавшая сторона, возмещения ущерба. Однако ничего этого он делать не стал, продолжая заниматься делами в обычном порядке.

Однажды вечером он позвонил ей и предупредил, что не вернется домой раньше одиннадцати или даже двенадцати. Как ни странно, вместо того чтобы, по своему обыкновению, навеститься к Роде, она решила провести вечер в одиночестве за чтением. Наступила полночь, а Свена все не было. Утром, удивленная и обеспокоенная, она позвонила в офис и выяснила, что с половины шестого вечера его никто не видел. Ничего больше не добившись, она побежала к сестре за советом. Время шло, но Свен как сквозь землю провалился.

На первый взгляд его финансовые дела были в порядке, однако позже выяснилось, что незадолго до своего исчезновения он понаделал кучу долгов, набрав ссуд на покупку машины, мебели, платьев и украшений для Рейны. Кредиты были выданы под его жалованье и акции, до сих пор им не выкупленные. Также часть акций была продана за наличные, которые больше нигде не фигурировали. Удивительно, но владельцы компании, казалось, были этим не очень обеспокоены, желая только, как они объяснили Роде при личной встрече, чтобы Свен вернулся. Такого ценного сотрудника, как он, им терять совершенно не хотелось. По их словам, в последнее время Свен места себе не находил, и они боялись, что его беспокойство могло быть связано с женщиной. Кто-то видел, как в его кабинет поздно вечером входила молодая особа. Какое-то время это заставило Рейну побегать за призраком, но таинственной незнакомкой, образ которой разжег в ней адское пламя ревности, оказалась она сама.

Следовать за всеми причудами воображения этой девушки стороннему наблюдателю было нелегко, и я чувствовал себя словно в центре водоворота. Осознав, что своим безрассудством и равнодушием она оттолкнула от себя человека, способного зарабатывать неплохие деньги, и осталась у разбитого корыта, Рейна попеременно погружалась то в страх, то в ярость, разрываясь между желанием поплакать и желанием отомстить, между злостью на то, что он не соизволил с ней даже попрощаться, и на то, что она переоценила силу своей власти над ним. Но обиднее всего ей показалось, что мы с Родой, в большей степени я, конечно, посчитали, что Рейна получила по заслугам.

Сначала она решила, что со Свеном произошел несчастный случай. Но тот факт, что он позвонил ей, прежде чем исчезнуть, не вписывался в эту теорию. К тому же в день своего исчезновения он переоформил на нового владельца не только разбитый автомобиль, починка которого была уже частично оплачена, но и вторую маленькую машину, на которую брал ссуду. Ну и аннулирование его личного небольшого банковского счета не оставляло никаких сомнений в том, что он ее бросил. Да и то, как равнодушно он отреагировал на их последнюю размолвку, должно было послужить ей предупреждением, что перемены не за горами, а почти на пороге.

После того как прошел первоначальный шок, наступил период размышлений и выводов, сопровождаемый такими странными психическими эффектами, что поставили бы в тупик любого психиатра. Такие вещи сплошь и рядом случаются в реальной жизни, но редко или даже никогда не попадают в романы.

В связи с предпринятыми в истерике поисками на сцене появился детектив, странный, чудаковатый, самоуверенный франт из офиса окружного прокурора, и немедленно влюбился в нее. Все, чего он хотел, – это доказать, что Свен – преступник, но не для того, чтобы наказать его, а только чтобы строго запретить приближаться к Рейне. Она довольно ловко взяла в оборот этого фрика, не потому, что хоть как-то благоволила ему, а для того, чтобы пользоваться его машиной, наличными, обедать и ужинать за его счет и продолжать расследование. За глаза она

ядовито прохаживалась по его поводу, уверяла, что бросит сразу по окончании дела, а если он станет ерепениться, нажалуется его начальству.

Апатичная и непричесанная, она часами наигрывала печальные мелодии на фортепьяно и казалась полностью погруженной в тоскливые мысли, а то вдруг раздражалась гневными тирадами в адрес сбежавшего супруга, словно бы не понимая, что это ее расточительность и сумасбродство стали причиной его мелких растрат, если их можно так назвать. Примечательно, что, когда детектив обратился в компанию, где работал беглец, там отказались предъявлять какие-либо обвинения.

После того как она наконец бросила мистера Морелло, своего незадачливого сыщика, велел ему не показываться больше на глаза, у нее не осталось никаких идей, что делать дальше. Необходимость поиска работы маячила перед глазами и вызывала у нее такое же отвращение, как и раньше, в этом можно было не сомневаться. Но пока она пребывала в меланхолии, сестра работала, и это начало тяготить ее. Неожиданно, и вопреки любезным уговорам Роды, Рейна перебралась вместе с вещами в комнату в самом сердце города, объявив, что отныне будет жить там. К тому же она наконец решила начать что-то делать: «Первое, что подвернется под руку». При этом она не собиралась слоняться по киностудиям, пытаясь просочиться на съемочную площадку. Ей был нужен стабильный заработок.

В общем, несмотря на уговоры сестры, она ушла, и после этого мы встречались, только когда Роде удавалось уговорить ее погостить, что, признаться, случалось не так уж редко. Но Рейна взялась-таки за первую предложенную работу – лифтера в административном здании.

Вскоре до нас стали доходить туманные слухи о ее дружбе с девушками, стоявшими настолько ниже на социальной лестнице, чем круг, в котором вращалась ее сестра, что это вызывало беспокойство, хотя, надо сказать, такие подруги идеально соответствовали настроению и состоянию ума Рейны в то время. Они принадлежали к тому типу невежественных или просто неопытных дурочек, для которых секс и завоевание мужчины – альфа и омега всех земных интересов. Мне не верилось, что они или их жизнь по-настоящему нравились Рейне, но она теперь жила среди них, и для того, может быть, чтобы не умереть от скуки, занимала себя их проблемами и, казалось, пребывала в большем мире с собой, чем раньше. В разговорах с сестрой она, однако, описывала новых подруг как повернутую на сексе «банду», а их ухажеров называла шантрапой без гроша в кармане, разъезжающей на «жестянках Лиззи», дешевых «фордиках», и промышляющей контрабандой виски. Иногда эта компания прискучивала Рейне до смерти, и она появлялась в квартире Роды с лицом, на котором было написано, что ей хотелось бы остаться здесь навсегда, но предложение вернуться встречалось ею в штыки.

И все же со временем решимость доказать Роде, что она способна идти собственным путем, несколько ослабела; Рейна стала больше ценить дружбу сестры, да и гнев на бывшего мужа несколько поутих, так что пару раз она даже признала, что делала в жизни ошибки.

– Беда в том, – без обиняков сказала она мне однажды, сидя перед зеркалом в будуаре сестры и накладывая на лицо ее крем, – что пока я жила в достатке, то не понимала, что Свен не такой уж никчемный парень. Куча мужиков гораздо хуже, точно. Теперь-то я это вижу.

– Это ж надо, – рассмеялся я, – неужели ты стала смотреть на Свена другими глазами?

– Похоже, что так, – честно признала она. – Свен был не так уж плох. Скупердяй, конечно, но пронырливый по части бизнеса. Если бы не я, он набил бы нам кубышку еще в Вашингтоне. Да и гаражные дела в Сиэтле вроде тоже в гору поперли. Что за, прости господи, дурехой я была тогда! Ничего мне было не по нутру. А все потому, что и представить себе не могла, как это можно – застрять на всю жизнь в одном месте. Когда я услышала, что Рода здесь как сыр в масле катается, то подумала, что тоже не лыком шита. И заставила Свена сюда приехать.

– Думаешь, теперь бы у вас все пошло по-другому?

– А то! Я дни напролет его вспоминаю. Ведь в Сиэтле я по нему с ума сходила. И даже когда мы приехали сюда, на меня временами такое накатывало, жуть. Но я, видать, слишком

много хотела, а он всегда шел у меня на поводу. Ни в жизнь не даст отпора. Лучше понакупит мне, что я захочу, даже если это ему не по карману.

Я молча взглянул на нее, слишком обрадованный таким чистосердечным признанием, чтобы вставлять собственные ремарки. «Вот так оно и бывает, голубушка, – подумал я тогда. – Прозрение наступает слишком поздно, и уже ничего не исправить». О Свене, по моим сведениям, до сих пор не было ни слуху ни духу.

Несмотря на воспоминания о былой привязанности, Рейна продолжала жить безалаберной жизнью, стараясь брать от нее все, что можно. Хотя как-то в порыве откровенности она призналась мне, что, если бы встретила другого «парня», рассудительного, трудолюбивого и честолюбивого, как Свен, она бы «вцепилась в него изо всех сил».

– Не сомневайся, теперь я дурака не сваляла бы. Ученая.

Мысль о том, что пора остепениться и снова выйти замуж, видимо, укоренилась в ее ветреной голове. Ну или хотя бы найти стоящего любовника с деньгами и умением их зарабатывать. Она даже начала намекать сестре, чтобы та представила ее кому-нибудь из своего круга, с деньгами и положением, о чем, конечно, ей не стоило бы и заикаться. Выражения типа «мы хотим», «я ложу» наверняка отпугнули бы самых снисходительных из потенциальных поклонников.

Когда Рейна убедилась, что Рода не приглашает старых друзей и не спешит знакомить сестру со своими деловыми партнерами, она решила взять дело по поиску кандидатов в мужья в собственные руки.

– Слушай, – обратилась она однажды ко мне. – Назови какую-нибудь книжечку, какую образованные парни считают как бы о'кей. Хочу таскать с собой что-нибудь такое, чтобы казаться умнее. Прикольно, да? – И она засмеялась. Она умела улыбнуться так, что растопила бы лед, и это, а также ее бесшабашная откровенность на многих, включая и меня, действовали безотказно.

– Считаю, она у тебя в кармане, – усмехнулся я, потянувшись к «Путям всякой плоти»<sup>4</sup>, в то время лучшей книге на моей полке.

– Точно знаешь, что это заставит какого-нибудь умника поверить, что я шарю в классных книжках? – требовательно осведомилась она.

– Ну, если это не работает, то не работает ничего. Тут главное – правильно рассуждать о прочитанном. Если чего-то не понимаешь, лучше молчи, понятно?

– Не волнуйся, не проколюсь. Как-нибудь справлюсь с твоими мудренными штуками. Ясен пень, сначала прочту, а потом, если что недотумкаю, спрошу у тебя. – Она снова улыбнулась, блеснув зубами.

Именно в такие моменты эта девушка становилась совершенно очаровательной, и именно ради них с ней и стоило поддерживать знакомство.

В течение следующего года она работала сначала лифтером, затем телефонисткой на коммутаторе (запускать лифт вроде как слишком просто, да ведь?) и, наконец, приемщицей в фотоателье, потому что это было еще круче. И она просто фонтанировала историями о собственных приключениях.

По какой-то причине – возможно, из-за Роды – она была полна решимости найти мужчину выше среднего уровня, который переплюнул бы даже Свена, чтобы при встрече друзья не подумали, что своим выбором она себя роняет, наоборот, чтобы сразу было понятно, что у нее все в ажуре.

Теперь наши разговоры проходили так:

---

<sup>4</sup> «Путь всякой плоти» (1903) – откровенный автобиографический роман английского писателя Сэмюэля Батлера, по воле автора опубликованный лишь после его смерти.

– Отвал башки! Видел бы ты того парня, которого я подцепила в Каталине в прошлую субботу, я и Мари. Парень что надо! Не шелупонь на ржавой колымаге, с вечным трепом про контрабанду и все прочее. Нет, это был реальный такой парень, серое твидовое пальто, роговые очки. А машина у него – «пейдж» с калифорнийским верхом! Я заметила, как он ставил ее в гараж. И он читал книгу – взаправду, а не так, чтобы передо мной выпендриться. Слышал о книге «Божеская комедия» или что-то типа того? Это вроде как роман, верно?

– Верно, Рейна. Это роман.

– И парня, который ее сочинил, зовут вроде как Данти?

– Опять верно. Он известный автор, Генри А. Данти. Ты найдешь его книги в каждой библиотеке. Он у нас самый популярный писатель. Все его читают. По куче его книжек наснимали фильмов.

– Правда? А ты, часом, по ушам мне не ездешь?

– Обижает. Да спроси у любого библиотекаря. Генри А. Данти, автор «Божеской комедии».

– Точно, это тот самый. Так вот, я теперь знаю – он рассказал мне, – про что эта книжка. Люди умерли и попали в ад, понимаешь? И черти их там мучают. Отвал башки! Интересно, жуть! А потом там было про парня, который умер, и еще там...

Дальше следовала ее версия агонии Паоло и Франчески, наказанных за свою преступную любовь и обреченных вечно кружиться в стигийском вихре.

Потом был другой достойный господин, в твиде и реглане, который ехал в офис дождливым утром.

– О, парень просто шик! И чтоб ты знал, он генеральный агент по фрахтовым операциям в одной из этих огромных пароходных компаний, которые перевозят грузы отсюда в Южную Америку. И он был ужасно милым, не сомневайся. Все выспрашивал, где я живу да чем занимаюсь. Ну ужасно милый! И мы с ним потрепались («Поговорили, Рейна!»), ну хорошо, мы с ним поговорили о кораблях, как они возят кофе, шкуры, шерсть, сахар и кучу других вещей. И он рассказал мне, как все это отправляют вниз по горам в маленьких выючных поездах, состоящих из таких ми-и-и-лых осликов. И как индейцы мало получают. Отвал башки! Это было та-а-к интересно, ты не представляешь.

– Ничуть не сомневаюсь. Я бы и сам с удовольствием с ним побеседовал.

– Причем у меня была та книжица, которую ты мне дал, сечешь? Так все и началось. Он зыркнул на книжицу («Посмотрел, Рейна!»), ну, стало быть, посмотрел, а я вертела ее туда-сюда, чтобы он мог лучше ее разглядеть. И когда мы доехали до центра, он спросил, можно ли со мной встретиться как-нибудь и пригласить поужинать. Стал нести, какая я милая девушка и всю эту чепуху. Но он мне понравился ну очень. Симпатичный, здоровенный такой, серьезный такой парень, и глаза большие и грустные. Совсем не похож на всю эту мелкую шуштуру, которая гоняется за тобой без гроша в кармане. Такой парень может изучить многому («Научить, Рейна!»). Ну, значит, научить.

Я припоминаю штук тридцать таких случайных встреч, и это далеко не полный перечень, но ни одна из них, очевидно, ни к чему не привела. Рейна была «повернута», по ее собственному выражению, на идее найти мужчину, который бы действительно чего-то стоил.

Наконец она нашла человека, обладающего, по-видимому, определенными способностями. Насколько я понял, это был «один-из-экспертов-по-эффективности-здесь-и-сейчас». По словам Рейны, ему было около пятидесяти, и он был связан с конторой, предлагающей услуги по повышению технической и финансовой эффективности фирм. Я видел его всего раз, да и то мимоходом: солидный мужчина, с внешностью завязанного спорщика и сутяги. Мне показалось, что эгоцентричное и вызывающее выражение его лица может скорее пресечь, чем поощрить, попытки сближения социального или любовного характера. Тем не менее Рейна с ним подружилась, и вскоре ее можно было увидеть за рулем элегантного автомобиля, который,

по ее словам, принадлежал ее новому другу. Иногда рядом с ней восседал владелец машины собственной персоной, в сером летнем костюме и таком же кепи, респектабельный и самодовольный.

Позднее эта дружба была, по-видимому, подкреплена множеством весьма значительных и солидных подарков: парой нефритовых серег, серой шубкой из натурального беличьего меха, несколькими пелеринами со шляпками в тон, туфлями, перчатками, бельем... но дальше память меня подводит. Так или иначе, внезапно Рейна стала очень нарядно и при этом не слишком вызывающе одеваться, позволив себе вещи, о которых так долго мечтала.

И вот однажды, откинувшись на спинку кресла все той же машины и сияя от удовольствия, она прикатила в Голливуд, чтобы объявить, что собирается в путешествие по Селкерку в северо-западной части Канады – посмотреть озеро Луиза, Банф, тотемные деревни и тому подобное.

– И это еще не все! – Рейна триумфально блеснула глазами. – Глянь сюда! – Когда она торжественно вытащила толстый кошелек и достала из него пачку сто- и пятидесятидолларовых банкнот, от удивления я потерял дар речи. – А главное, что он от меня без ума. Он говорит, что если я пойду в школу и поработаю над своей грамматикой, то буду выглядеть не глупее остальных. Так я и сделаю! Вечно, что ли, мне в дурочках ходить? Что-то я уже знаю, дай мне годик или два, и я буду знать еще больше. Во всяком случае, главное – первый шаг, как ты считаешь?

– Абсолютно с тобой согласен, Рейна. Ты просто прелесть. Если сильно чего-то хочешь – все обязательно получится, так ведь?

– Точно. Буду теперь паинькой, деньги стану копить, выйду замуж за приличного человека и, может быть, через несколько лет чего-то добыюсь.

– Золотые слова. Но, думаю, ты уже и так чего-то добилась. Не каждый может похвастать тем, что едет в июле отдыхать на озеро Луиза.

– Что верно, то верно.

Роде нечего было к этому добавить. Ее отношение к Рейне лучше всего выразилась в словах, сказанных в отчаянии после очередной сестринской выходки:

– Что ж, я ничего не могу изменить, ведь так? Я уже сделала все, что могла. Она моя сестра, и я не могу не любить ее, но ответственности за нее не несу. Она все равно меня не слушает и даже не пытается встать на мою точку зрения. Пусть живет своей жизнью, вот и все. Мне ее жаль, конечно, но ведь ни мама, ни Свен тоже ничего не смогли с ней поделать.

Но вернемся к нашему разговору. За все время, пока Рейна распускала хвост, Рода не проронила ни звука. Наконец Рейна не выдержала:

– Ну и в чем дело? Ты не считаешь, что все это просто прекрасно – мои наряды, путешествие, все такое?

– Может быть, если ты на самом деле хочешь поехать и он тебе действительно небезразличен, – довольно жестко заметила Рода. – Надеюсь, ты ему и правда нравишься и все это не выльется в очередную глупую авантюру, о которой ты будешь потом сожалеть. Знаешь, ведь ты когда-нибудь можешь повстречать человека, которого действительно полюбишь.

– Ох, да понимаю я. Но он мне действительно нравится. И он сказал, что не встречал никого, кто заинтересовал бы его так же сильно, как я. К тому же он собирается послать меня в школу, в какой-то санаторий. Разве это не здорово?

– Крематорий, Рода, крематорий, – вставил я.

– Ой, да ладно, помолчи. Без тебя знаю.

Не в силах больше сдерживать эмоций – потому что привязанность к сестре была у Рейны, при всей ее несурзанности, искренней и неизменной, – она бросилась ей на шею и расцеловала на прощание. Даже слезы хлынули из глаз коротким, но бурным потоком.

– Я по гроб жизни тебе обязана, Рода. И не говори, что это не так. Ты всегда была добра ко мне. Если бы не ты, разве я б сюда приехала? И не было бы у меня всего этого.

Еще несколько слезинок. Рассказанная напоследок забавная история. Взрыв смеха. И поспешный выход, сопровождаемый изумленным взглядом Роды. И я сам, гадающий, где, в какой строке длинного каталога фантастических редкостей можно поместить эту девушку. В водевиле театра «Орфей»? В ярмарочном балагане?

Но Рода... Я повернулся к ней. Она плакала.

– Забудь, – вот и все, что я мог посоветовать. – Ты ничего не в силах изменить, не так ли? Она такая, какая есть. Если ты собираешься рыдать обо всех несовершенствах мира, ты никогда не остановишься. Кроме того, ты испортишь макияж.

Но он был уже непоправимо испорчен.

Вернемся к Рейне. Как-то раз, недель за шесть до своего отъезда, они с приятельницей зашли в квартиру Роды за какой-то принадлежащей ей вещью. Роясь в коробке, где хранились их со Свеном письма, она начала перебирать их одно за другим. Пытаясь справиться с нахлынувшими воспоминаниями, Рейна стала рассказывать подруге о ссорах, которые сопровождали ее семейную жизнь, как она уходила от Свена три или четыре раза, а он всегда следовал за ней.

Потом, не смущаясь моим присутствием, Рейна попросила подругу прочитать письмо, которое она написала Свену во время одной из этих ссор. Подруга сказала, что письмо «крутое».

– Я и сама так считаю, – призналась Рейна. – Но я его тогда так и не отправила, потому что подумала, что, может быть, все это неправда. Хотя Свен всегда западал на такие штуки. Вот я и написала ему.

Против воли прислушиваясь к их болтовне, я увидел, как она бросила письмо обратно в коробку.

– Разве ты не возьмешь его с собой, Рейна?

– Конечно нет. Оно мне теперь без надобности.

– Вроде бы ты говорила, что скучала по Свену?

– Ну скучала – немного. Но письмо-то все равно не отправила. Прочти, если хочешь, а потом выброси в мусорную корзину. Ты, конечно, посмеешься надо мной, но я тогда писала, что думала.

Позже мне пришло в голову, что письмо может осветить какие-то потаенные уголки души автора, и я извлек его из корзины для мусора, куда оно было небрежно брошено. Предоставляю его на суд читателя.

*Дорогой Свен,*

*сегодня такая прекрасная ночь, и я не могу уснуть, а просто наслаждаюсь ею и думаю о тебе. Кажется, за два года наша супружеская жизнь совсем развалилась, Свен. Жаль, конечно. И ты пытался что-то исправить, и я пыталась, но что ушло, так это наша настоящая любовь друг к другу, а ведь ни один живой человек не может быть счастлив без любви, правда? Я знаю, ты думал, что причина во мне, но ты должен понять, почему я бывала сердитой и раздражительной.*

*В последний раз, когда мы опять стали жить вместе, так это потому, что я думала, будто мне не наплевать на тебя. Желание быть с тобой я не могла объяснить, так странно это и жутко, что я непременно должна была заполучить тебя. А теперь я знаю, что скучала по тому счастливому человеку, каким ты был раньше, и нигде не могла найти его, и мне было ужасно грустно, и я не могла без тебя такого жить.*

*Я знаю, ты разочаровался во мне, но это к лучшему, не все люди созданы для брака, и ничего тут не поделаешь.*

*Когда-то не было женщины счастливее меня. Я была как сумасшедшая от твоей любви и думала, что так будет всегда. Уверена, ты чувствовал то же самое, но иногда жизнь идет как будто наоборот. Я всегда верила тебе, Свен, пока ты не начал таиться от меня и врать почему зря. Что бы там ни было, ты выбрал один путь, а я – другой. Может быть, дело в этом. А может, в том, что мы никогда не были по-настоящему вместе. Теперь ты поймал свой шанс, а я все еще ищу свой.*

*Почему один человек может заставить другого так страдать, если это не из-за ненависти или недомыслия? Когда я капризничала, в душе мне хотелось, чтобы ты меня обнял, и твои поцелуи я никогда не забуду. Но я скорее буду жить одна и вспоминать любовь, которая у меня была, чем вернуться к тебе, чтобы мы опять ненавидели друг друга.*

*Я знаю, тебе тоже тяжело. Не думай, Свен, что у меня нет сердца, хотя иногда это выглядит именно так. Я сочувствую тебе и помогла бы с радостью, если бы могла. Я знаю, что на самом деле ты лучше, чем думаешь о себе, и кто-то должен помочь тебе это осознать.*

*Я так рада, что твоя работа приносит тебе радость, а значит, нет причин, чтобы ты не достиг любой вершины, как и другие мужчины, которые смогли добиться того, чего хотели, и я надеюсь, так же будет с тобой.*

*На самом деле хорошо, что ты теперь свободен от семейной жизни, потому что на пути к твоей вершине больше нет препятствий. Мы еще молоды, и ты обязательно найдешь кого-нибудь, кто станет для тебя самым лучшим, тогда придет время вспомнить, что мы были правы, когда порвали друг с другом и позволили судьбе привести нас к настоящей любви.*

*Пожалуйста, Свен, постарайся понять меня, потому что лучше нам жить, словно мы никогда и не встречались, если нам не наплевать, что с нами будет дальше.*

*Объясни своим родителям, Свен, когда вернешься домой, почему все так вышло и что я всегда считала их за своих родных отца и мать, и передай им мое почтение. Я уверена, что они не станут меня осуждать, то есть надеюсь, что не станут.*

*Я уверена, Свен, что все несчастливые часы, которые ты провел со мной, будут забыты и я тоже начну новую жизнь с чистого листа прямо сегодня. Развод будет, когда я накоплю на него денег, и мы сможем вычеркнуть из жизни два года нашего горемычного брака.*

*Я написала это, чтобы все уложилось в голове, было тяжело, но я это сделала.*

*Так что прощай, Свен, это мои последние слова тебе. Пожалуйста, прости и забудь – это единственный путь для нас. Заканчиваю свое письмо искренними пожеланиями тебе светлого будущего, я буду уважать тебя как своего мужа до конца дней.*

*Пусть Бог простит нас, как всегда.*

*Рейна.*

Через пять месяцев после отъезда Рейны из Лос-Анджелеса от Свена к Роде пришло письмо. На почтовом штампе можно было разобрать: Калгари, Канада, – но обратного адреса на конверте не было.

*Дорогая Рода,*

*ты удивишься, наверное, получив от меня весточку, но я должен тебе тысячу, и вот она. Пожалуйста, ничего не говори Рейне. Я знаю, что ты не станешь, и спасибо тебе за это. Мне даже думать тяжело о прошлой жизни. После автомобильной аварии я был словно не в себе. Будто все вокруг ополчилось против меня, и поэтому я все бросил. Но сейчас моя жизнь наладилось. Вот почему я посылаю тебе это письмо. А первый год был для меня тяжелым. Хотел бы я снова увидеть твою милую маленькую квартиру и поговорить с тобой. Я объяснил бы тебе свои чувства. Не думай обо мне слишком плохо. Рейне было плевать на меня, и когда я это понял, то больше не видел смысла с ней оставаться. Я желаю тебе удачи и надеюсь, что у Рейны все будет хорошо. Наверняка так оно и случится. Надеюсь, и у меня тоже.*

*Свен.*

## Оливия Бранд

Когда я думаю о ней, перед моими глазами встают Уосатчские горы, Солт-Лейк-Сити, раскинувшийся у их подножия, храм мормонов и широкая гладь Грейт-Солт-Лейка, университет штата Юта, расположенный высоко на склоне, откуда открывается вид на город, – отец Оливии был там профессором математики. В свободное от лекций время он занимался банковскими операциями, а кроме того, был не то старшиной, не то членом приходского управления одной из главных баптистских церквей города. И мне вспоминается тот особняк, который, как гласит молва, Брайем Юнг построил для самой любимой из своих двадцати двух жен. Я вижу также длинные тихие улицы, на одной из которых стоял дом родителей Оливии, такой респектабельный и такой типичный для Среднего Запада; отец Оливии занимал солидное общественное положение, как она поняла еще в детстве, ибо был связан и с университетом, и с банком, и мне представляется его сумрачное, худое бородатое лицо; она призналась мне однажды, что никогда не могла понять своего отца, таким он был непроницаемым и важным. А мать ее, рассказывала мне Оливия, вечно терзали мысли о том, что именно считать правильным с точки зрения приличий и что является наиболее пристойным и подобающим, что скажут люди и как ей самой следует поступить в том или ином случае.

Оливия говорила мне, что сначала училась в городской школе, а потом поступила в университет, где ее отец читал лекции. Кроме того, она посещала богослужения и воскресную школу при той церкви, весьма заметным украшением которой являлся ее отец.

Однако мысли, занимавшие ее тогда, далеко не соответствовали тем общепринятым взглядам, которых придерживались ее родители. Она уже сблизилась с несколькими юношами и девушками, которые принадлежали к другим религиозным сектам, а то и вовсе ни к каким и были чуть ли не еретиками и даже бунтарями; с ними она делилась своими мыслями, хотя и мать, и отец не раз предостерегали ее от опасности подобных знакомств. Когда ей было четырнадцать лет, однажды в церкви, во время религиозного экстаза, овладевшего молящимися, под истерические возгласы проповедника, который, кстати сказать, был необычайно хорош собой, ее вдруг охватило сознание собственной греховности и нравственного несовершенства. И когда этот проповедник положил благословляющие руки на ее голову и плечи, она почувствовала, что воистину «обращена» и «спасена». Некоторое время после этого, к великой радости родителей, она с воодушевлением читала Библию, заявляла во всеулышание в церкви и повсюду о своем обращении, смертельно надоедала друзьям и соседям, пытаясь раскрыть им глаза на чудовищность их духовного падения и убедить в том, что и для них необходимо такое же чудодейственное спасение, какое обрела она сама. (Все это должно показаться несколько странным тому, кто знаком с ее дальнейшей жизнью.)

Но страстное увлечение религией вскоре уступило место не менее страстному любопытству к жизни, завладевшему ее сердцем и разумом. Она хотела знать. Ей хотелось познакомиться с людьми, не похожими ни на ее родителей, ни на тех, кого они ставили ей в пример. Хотелось думать и рассуждать именно о том, что они так решительно осуждали. Читать именно те книги, которые, она знала, они не одобряют, вроде тайком добытых ею двух-трех романов о любви и описания сомнительных походов Брайема Юнга и пророка Джозефа Смита. (Два последних тома в конце концов обнаружила ее мать и вернула их родителям девушки, от которой Оливия получила эти книги. Она не преминула при этом указать на необходимость строгого внушения и наказания виновной.) Надо сказать, что, даже когда Оливии исполнилось восемнадцать лет, мать ее считала своим долгом всегда знать, где ее дочь была и чем занималась, по крайней мере она пыталась это узнать. Правда, делалось все это без излишней назой-

ливости. Она все-таки искренне любила дочь. Однако Оливия, наделенная находчивостью и хитростью, в большинстве случаев умела обойти строгую бдительность матери.

Но я забегаю вперед... Познакомился я с Оливией у одного педантичного юриста, представителя старого Гринвич-Виллиджа, своей желчностью и худобой напоминавшего шекспировского Кассио. Он пригласил Оливию и ее друзей в «Черную кошку» – в те времена это заведение было еще в полном расцвете. Оливия была тогда женой очень богатого западного лесопромышленника, и супруг разрешил ей совершить поездку на восток.

Она гостила у одного редактора, человека довольно легкомысленного, и его жены – друзей юриста; оба чрезвычайно гордились своей причастностью к артистическому Гринвич-Виллиджу, к его интересам и вкусам. Оливию, как я мог заметить во время обеда, все они считали истинной находкой. И вполне понятно. Она была богата, умна и, что еще важнее, молода, жизнерадостна и красива. Тяжелые темные волосы, по-испански причесанные на пробор, обрамляли ее невысокий матовый лоб; продолговатые живые глаза смотрели горячо и открыто. Стройная шея и округлые плечи казались выточенными из слоновой кости. Платье в испанском стиле, шаль, серьги, высокий гребень... «Не слишком ли кастильский облик для жительницы Спокэна?» – с улыбкой подумал я.

Среди гостей был модный поэт – высокий, статный мужчина с вьющимися волосами, и Оливия, как я заметил, не сводила с него глаз. Он же, польщенный таким вниманием, провозглашал тосты за ее здоровье и рассыпался в любезностях, довольно слащавых и безвкусных. Был там еще известный писатель, редактировавший журнал анархистов; вдохновленный красотой новой гостьи, он с особым красноречием обрушивался на богатство и социальное неравенство, попутно извергая на Оливию поток полупьяных комплиментов.

Впоследствии я часто встречал его у Оливии, и никогда он не мог исчерпать запаса своих дифирамбов. Был там еще... впрочем, не довольно ли? Достаточно сказать, что за столом сидело по крайней мере человек двадцать мужчин и женщин разного возраста, разных занятий и убеждений, и все они, казалось, видели в Оливии королеву вечера. Да она и правда была самой интересной и красивой из всех присутствующих женщин. Бесшабашное веселье тех предвоенных лет! Сколько угодно коктейлей и шотландского виски! Надо сказать, что Кассио оказался весьма щедрым хозяином. К полуночи он пригласил нас всех к себе на квартиру в старом Гросвеноре, где опять было вино, музыка, сигары и где разговор еще больше оживился. Не было конца остроумам и шуткам, веселой болтовне о том о сем, обо всем на свете.

Помнится, одно обстоятельство привлекло тогда мое внимание и возбудило любопытство к этой молодой особе: какая-то ревнивая неприязнь к Оливии Бранд моей знакомой, с которой я был на том вечере. Это ревнивое чувство не было связано с ее отношением ко мне. Она любила другого, и, хотя в то время он был далеко, ее симпатии безраздельно принадлежали ему. Но какие тирады я услышал по пути домой! Какие колкие замечания о жизни Оливии! Собственно говоря, кто она такая? Выскочка, провинциальное ничтожество! Жена лесопромышленника с Дальнего Запада, у которого, правда, куча денег, но сам он круглый невежда, чурбан неотесанный! Кстати, почему она живет одна здесь, в Нью-Йорке, а он где-то там на Западе работает для нее? А очень просто! Потому что Оливия Бранд бессердечная авантюристка, не стесняющаяся жить на деньги человека, которого презирает и стыдится! Она просто-напросто паразит, никчемное создание, да еще с претензиями на литературный и художественный вкус! Воображает, что задает тон! Это она-то! Господи! Ну уж и образец изысканности, нечего сказать! Деньги, деньги, деньги! Роскошная квартира на Риверсайд-Драйв! Шикарный автомобиль! Нацепила все свои меха и драгоценности, водит за собой целую свиту любовников и еще смеет являться в Гринвич-Виллидж и рассуждать о правах трудящихся и о теориях Маркса и Кропоткина, она, видите ли, увлекается социализмом и левым движением! Подумать только! Каждый уважающий себя радикал должен держаться подальше от подобных

фокусниц! Экая лицемерка! Вот уж подлинно гроб повапленный! (Боюсь, что мои эпитеты и сравнения несколько сумбурны, – что поделаешь, именно так выражалась моя приятельница.)

Однако это уже становится интересным, подумал я. Что-то, видно, есть в этой Оливии Бранд, если она смогла вызвать такую бурю ненависти со стороны женщины тоже весьма незаурядной. Кроме того, она в самом деле очень красива. Где она живет? Она как будто не обратила на меня никакого внимания.

После этого вечера прошло порядочно времени. Я ничего больше не слышал об этой нашумевшей «авантюристке». Но затем человек совершенно иного толка, редактор журнала и талантливый писатель, который любил слоняться по Нью-Йорку, интересуясь самыми разнообразными делами и людьми, напомнил мне о ней. Он где-то с ней познакомился. У нее очень милая квартирка на Риверсайд-Драйв. Она часто устраивает приемы, на которых собираются интересные люди. Там наверняка можно встретить кое-кого из левых вроде, например, деятелей ИРМ<sup>5</sup>, – между прочим одного горняка из западных штатов, ныне крупного рабочего лидера, – всем им она, по-видимому, очень нравится. Ну что ж, у нее разносторонние интересы. Не одни только радикалы у нее бывают, но и множество других людей, которых никак нельзя причислить к левым. Кого только у нее не встретишь – редакторы, художники, искатели приключений, прожигатели жизни. Словом, там не заскучаешь! Почему бы и мне как-нибудь не зайти к ней? Я отнесся к этому предложению без особого восторга, потому что в то время был очень занят. Однако столь противоречивые отзывы об Оливии занимали меня и еще больше возбудили мое любопытство. Должно быть, она и в самом деле незаурядная женщина. Какая-нибудь пустая кокетка или ничтожество не смогла бы привлечь столь разнообразных людей. Мой собеседник, между прочим, отозвался о ней как о женщине широких взглядов и образованной, а библиотека, по его словам, была у нее совершенно исключительная. И я решил, что стоит к ней зайти.

Вскоре после этого раздался однажды телефонный звонок, и я услышал воркующий женский голос. Она не помешала? Она просит извинить ее. Говорит Оливия Бранд. Помню ли я ее? (Безусловно.) Она давно собирается пригласить меня к себе, но все как-то не выходит. Она даже просила кое-кого из своих друзей привести меня, но они не исполнили ее просьбу. Поэтому она отважилась позвонить сама. Не приду ли я сегодня к ней обедать? Нет? Почему меня нужно так упрашивать? Ну хорошо, нельзя так нельзя. Но вот завтра она вместе с небольшой компанией – это очень интересные люди – собирается пойти в чешский театр в Ист-Сайде. Там ставится чешская народная драма на чешском языке, играют чешские актеры. Не пойду ли я с ней? Она рассказала мне об этой пьесе и об актерах, – и я согласился пойти. Меня заинтересовал ее рассказ. Исполнители, говорила она, не актеры-профессионалы. Некоторых она знает лично, они живут и работают, как и все прочие члены чешской колонии. Пьеса же трагическая. О любви, нищете и угнетении. Слушая Оливию, я чувствовал, что это не просто светская болтовня. Ее замечания свидетельствовали о критическом чутье, о неподдельном сочувствии к людям.

В условленный час она ждала меня у подъезда в автомобиле, и опять на ней были меха и бриллианты, – странное пристрастие к роскоши, подумал я, для женщины, столь интересующейся чешскими крестьянами и их трагедиями. Но, когда мы стали разговаривать, пытаюсь быстрее составить представление друг о друге, я понял, что имею дело с отзывчивым, живым, разносторонним человеком: она много читала, но сама видела и испытала, может быть, не так уж много и, во всяком случае, еще не успела пресытиться жизнью. Ах, Нью-Йорк такой интересный город! Если бы я только знал! После Спокэна! После Солт-Лейк-Сити! После угнетающей скудости умственной и духовной жизни в городах Среднего и Дальнего Запада, хотя и больших, но безнадежно провинциальных. В Нью-Йорке все такое необыкновенное – самые

---

<sup>5</sup> Индустриальные рабочие мира.

улицы, толпа, иностранные кварталы! Все эти чужеземцы, которые не растворились в чужой среде, а живут вместе, говорят на родном языке, соблюдают свои обычаи! Ее восхищение Нью-Йорком было так искренне, что передалось и мне и освежило давнишнюю мою привязанность к этому великому городу; и хотя я, как все, кто встречал Оливию, не мог не поддаться обаянию ее внешности, вскоре уже не замечал этого, увлеченный блеском и живостью ее ума.

И вот мы у входа в большое, ничем не примечательное здание, похожее на рабочий клуб, в Верхнем Ист-Сайде. Иностранцы, по виду рабочие, толпятся в дверях. Я почувствовал, что мы, и в особенности Оливия в своих роскошных мехах, составляем резкий контраст с этим будничным миром. Впрочем, ее это, казалось, не слишком беспокоило. Как я узнал позже, она считала, что красота и роскошные наряды, если они к лицу, нигде не бывают неуместными. Каждый человек – по крайней мере, в Америке, – она утверждала, может к этому стремиться. Почему бы не появляться всюду хорошо одетым, если, конечно, это делается не ради похвалы перед другими? Она умеет, когда нужно, отказываться от роскоши, ей уже случалось это делать, но жизнь вокруг так бесцветна, что она предпочитает быть всегда празднично-нарядной, не желая этим, конечно, никого обижать. (Прекрасный ответ той особе, которая хотела бы лишиться Оливию всех ее дорогих нарядов и украшений и одеть в рубище.)

Рядом с главным входом помещался бар и ресторан, видимо при этом клубе, – комбинация бильярдной, читальни, кафе и пивного зала. Внизу был даже кегельбан (понятно, иностранцы), откуда доносился стук шаров. Она взяла меня за руку и открыла задрапированную дверь:

– Давайте зайдём сюда, прежде чем идти наверх, и выпьем по чашке кофе с богемскими пирожными. Я как-то раз заметила этот ресторанчик и зашла. Здесь очень мило.

Она повела меня к столикам зеленого мрамора, уютно расположенным у синевато-зеленой стены. Тут действительно все было по-иностранному. Там и сям сидели, читая, какие-то люди, с виду рабочие, мелкие служащие или лавочники. Пока мы пили кофе, Оливия что-то ворковала и мурлыкала насчет своеобразного колорита, присущего Нью-Йорку. И, слушая ее, я невольно думал о том, как скучно, должно быть, жилось ей на Западе. Потом мы поднялись в зрительный зал. Пьеса, как и говорила Оливия, оказалась в самом деле интересной, она несколько напоминала (по крайней мере, по сюжету) «Власть тьмы» Толстого. В тот вечер я обнаружил в Оливии что-то новое, а именно что ее глубоко волновали и тревожили те явления, которые сам я привык рассматривать как неизлечимые язвы жизни; в отличие от меня она не считала их столь безнадежно непоправимыми. Жизнь хоть и медленно, а все-таки движется вперед, по крайней мере так должно быть! Изучение истории, по словам Оливии, убедило ее в этом. Она, правда, не одобряла слишком решительные, или, я бы сказал, нигилистические, меры, но серьезная борьба, развернувшаяся тогда в Америке, вызвала в ней сочувствие к тяжелому положению рабочих. Несчастные труженицы в потогонных мастерских Ист-Сайда! А рабочие текстильных и швейных предприятий в Данбери и Патерсоне! Какая ужасная у них жизнь! Из ее слов я понял, что она уже побывала в обоих этих городах во время происходивших там стачек. Там были Билл Хейвуд, Эмма Гольдман, Бен Рейтман, Мойер, Петтибон – крупные, закаленные в десятках забастовок вожди рабочего движения. С ними она уже встречалась раньше либо в Нью-Йорке, либо еще до того, как приехала сюда.

А что думаю я о той жестокой борьбе, которая происходит сейчас между капиталистами и рабочими? Из моих книг видно, что я сочувствую бедным и угнетенным. Конечно, сочувствую, отвечал я, всем бедным и угнетенным как у нас в Америке, так и во всем мире. Но, мне кажется, неправильно было бы думать, что в своей бедности и угнетенности человек сам несколько не виноват; конечно, у нас имеются не только несправедливые, деспотичные законы, но и несправедливые, деспотичные люди и порядки, с которыми надо как-то бороться. Ну а вот насчет того, чтобы сделать всех людей равными и полноценными, это, кажется, не в природе вещей. Заблуждение Хейвуда, Эммы Гольдман и других руководителей рабочего движения

заключается, как я тогда сказал, в том, что они предполагают, будто люди, только из-за своей бедности и угнетенности, благодаря какой-то таинственной социальной химии – суть которой для меня остается загадкой, – могут превратиться, и даже мгновенно, в сознательную и творческую общественную силу; что именно в их руки нужно немедленно передать всю власть, в том числе право распределять блага жизни и указывать каждому его общественные обязанности; творческая же энергия одаренных представителей всякой другой социальной среды должна быть скована. С этим я никак не мог согласиться. Уничтожить угнетение? Конечно, надо его уничтожить, если это возможно, и устранить бедность, насколько это осуществимо для человеческой воли и способностей. Но думать, что люди при каком бы то ни было общественном устройстве могут освободиться от своих недостатков или своей тупости или же что рабочие, люди, занятые исключительно физическим трудом, должны лишь в силу своего численного превосходства стать главным предметом внимания общества и государства – тысячу раз нет! Мне непонятна такая точка зрения. Я не хочу, чтобы рабочих угнетали. Но я также не хочу, чтобы им переплачивали или разрешали – только потому, что они могут организовать и имеют право голоса, – указывать всем остальным трудящимся, или мыслителям, или высокоталантливым творцам во всем мире, как и в какой мере они должны быть вознаграждены за свой труд. Ибо человек, вынужденный из-за своего умственного несовершенства заниматься физическим трудом, не способен диктовать творческому уму, в каких границах тот должен мыслить и какое вознаграждение получать за свой умственный труд. Жизнь создана не для одной какой-нибудь общественной группы – будь то рабочие, или ремесленники, или художники, торговцы, или финансисты, – а для всех. И ни в коем случае не следует все слои общества мерить одной меркой. Они не могут одинаково думать и требовать одинакового вознаграждения – так никогда не будет. Жизнь по самой своей сути стремится не к однотипности, а к многообразию. Химически, биологически она представляет собой неустойчивое равновесие. И то же самое можно сказать о человеческом обществе. Следовательно... Но, кажется, я впадаю в поучающий тон, а ясностью мои рассуждения, боюсь, не отличаются, поэтому...

И у нас завязался один из тех нескончаемых споров, которые по большей части ни к чему не приводят; он продолжался после театра, во время нашего позднего ужина и у нее дома, так что я попал к себе только к трем часам ночи. Теперь я понял, что Оливия женщина поистине незаурядная, способная и волновать своей красотой, и пленять своим живым умом. Кроме того, я разглядел в ней душевную отзывчивость и человечность, которые не позволяли ей спокойно и равнодушно относиться к страданиям людей. Эта отзывчивость главным образом и побуждала ее, как мне кажется, читать, думать, искать, общаться с людьми и бывать повсюду: ей хотелось самой все видеть и слышать, все узнавать из первых рук. У меня появилась уверенность, что, несмотря на все, что мне рассказывали о ее легкомысленных наклонностях, или, быть может, именно благодаря им, мы еще услышим о ее участии в сфере интеллектуальной деятельности.

Теперь, заинтересованный ею, я охотно принял приглашение прийти к ней на обед. Я застал у нее разнообразное и интересное общество. Наряду, например, с Мойером, которого вместе с Хейвудом и Петтибоном судили за убийство некоего Штейненберга, бывшего губернатора штата Колорадо, происшедшее несколько лет назад во время знаменитой колорадской забастовки горняков, там были: два художника и музыкант – всех троих я хорошо знал, – редактор одного либерального журнала, редактор социалистического еженедельника того же направления, что и «Дейли Уоркер», поэт, тот самый, который осыпал ее комплиментами на обеде в «Черной кошке», всегда блистательный Бен Рейтман, бывшее увлечение Эммы Гольдман, один журналист (пожалуйста, запомните его!), который, располагая средствами и досугом, вел отдел городских новостей в одной из крупных воскресных газет Нью-Йорка; а для колорита и украшения общества там было пять или шесть молодых замужних и одиноких хорошеньких женщин, весьма неглупых и остроумных, обладавших своего рода нюхом на все достойное

внимания в области философии, искусства и социальных проблем. Впрочем, на сей раз мы собрались просто для того, чтобы за едой и вином приятно провести время.

Все связанное с Оливией Бранд будило теперь мое любопытство. В тот вечер меня особенно заинтересовал стиль обстановки ее комнат, вернее, то настроение, которое в этом проявлялось. Эффектность – вот наиболее подходящее слово для характеристики этой обстановки. Лесопромышленник, как видно, не поскупился и разрешил покупать все, что ей вздумается. Преобладала старинная мебель, повсюду красивые ковры, были тут и гобелены, и ультрамодерновые скульптуры, и несколько интересных, хотя, пожалуй, слишком броских неоимпрессионистических картин, которые она бог весть где раздобыла. Ковры, портьеры, картины, торшеры, книги – все говорило о нарочитой небрежности, о стремлении поразить утонченностью своего вкуса. Масса книг по самым разнообразным вопросам. Эта женщина безусловно любила книги и читала много, притом не только для развлечения. Вначале я не был уверен, что все это отражает ее собственные интересы, и подозревал чье-нибудь чужое влияние. Однако с течением времени я убедился, что она была вполне самостоятельна в выборе.

Оливия старалась быть приветливой и внимательной со всеми, и, слушая те грубоватые, а подчас до крайности резкие суждения, которые позволяли себе ее гости, я подумал, что она, пожалуй, даже излишне терпима к чужим взглядам. Создавалось впечатление, что собственные ее воззрения и интересы слишком уж широки и неопределенны. Однако было ясно, что в противоположность сторонникам крайних мер, неизбежно связанных с революционными потрясениями, она стояла за всестороннее развитие. Людям нужно учиться, учиться, учиться! (Если бы только они имели такую возможность!) Как-то впоследствии я сказал, что ей следовало бы избрать восходящее солнце своей эмблемой. Впрочем, она слишком интересовалась людьми – главарями каждого лагеря, – и это мешало ей стать на чью-либо сторону; однако в некоторых острых вопросах рабочего движения она была такой же непримиримой, как и любой революционер.

Еще одно я заметил в тот вечер, что Оливия как женщина нравилась очень многим и сама не скупилась на ответные чувства, и это, заметьте, при наличии щедрого мужа где-то на Западе. По этой причине я был склонен, в особенности первое время, когда еще плохо знал Оливию, осуждать ее. (Все понять – значит все простить!) Среди ее поклонников был, например, литератор, тот самый, который рассказал мне о ее вечерах, – пышущий здоровьем, энергичный и привлекательный мужчина. Я заподозрил, что он имел особые права в этом доме, и, как потом выяснилось, я не ошибся. Затем был поэт, который пел ей дифирамбы в «Черной кошке». Его пьяная развязность на том вечере, как и в других подобных случаях, убедила меня, что он уже пользовался ее благосклонностью. Он впоследствии сам мне в этом признался. Был еще профсоюзный гигант. Да, и он тоже! Экая любвеобильная особа, подумал я.

Тем не менее она мне очень нравилась. Было решительно что-то вдохновенное в ее страстном интересе к жизни, в ее умении чувствовать красоту, поэзию, романтику. Меня поражало ее тяготение к людям, творчески одаренным, особенно если им к тому же не было чуждо понимание красоты, и ее искреннее сочувствие тем, кто был всего этого лишен. Я подумал тогда, что в ней как бы воплотилось новое, а может, и очень старое, не знаю, как правильное сказать, стремление женщин к свободе, их современный ответ на извечное непостоянство мужчин. Оливию, казалось, не слишком беспокоило, как оценивают люди женскую добродетель. Она была за жизнь, за дерзания, за романтику в любом их проявлении. А добродетель – или кодекс супружеской морали – она считала пустой выдумкой, которая одним людям нужна, а для других совершенно бесполезна. О себе же она, очевидно, решила, что имеет право на ту дионисийскую свободу, которую греки даровали лишь гетерам. И вообще она была убеждена, что женщина должна быть так же свободна в любви, как и мужчина, но она никому не навязывала своих взглядов и не считала, что мужчин надо ограничить в их правах. Как я понял из ее поступков и слов, она верила, что свободное общение одаренных мужчин и женщин не

только принесет им самим радостное вдохновение и духовный подъем, но и будет способствовать общему благу, служить источником новых и плодотворных идей и вдохновителем общественного развития. Признаться, я невольно улыбался, слушая ее беседы с Бенем Рейтманом, похожим на Гаргантюа, о том, как лучше устроить мир, – на этот счет у них было полное согласие. (О Рабле, если б ты мог присутствовать при этом!) Добавлю, что Оливия не была склонна рассматривать чувственную любовь только как потворство инстинкту, напротив – она связывала ее с романтикой, счастьем, идеями. Все, что угодно, ради достижения свободы духа, сказала она мне однажды, пусть жизнь будет как вихрь, в котором мужчины и женщины обретут счастье и вместе с тем смогут мыслить и творить.

Что касается благоприличия и правильности таких взглядов, то я сказал бы: если мужчины и женщины способны долгое время находить удовольствие в подобном вихре, то, очевидно, это имеет какое-то оправдание. Бесспорно, что пуританизм обесцвечивает жизнь и порождает скуку, ибо сводит любовь к простому деторождению: плодитесь и размножайтесь! А для чего, собственно? С другой стороны, далеко не все мужчины могут выносить непостоянство женщин, равно как и не все женщины согласны мириться с непостоянством мужчин. Но и не все способны выносить скуку, даже благонравные. И если некоторых людей их внутренние импульсы толкают на это бешеное кружение, то зачем их останавливать?

Все же что там ни говори, а Оливия Бранд была незаурядной женщиной. Она познакомила меня, и, конечно, не только меня, с интересными людьми, мыслями, событиями и книгами. Однажды, помнится, она повела меня на тайное собрание, где я увидел рабочего лидера, одного из руководителей знаменитой лоренской стачки. Оно происходило в Ист-Сайде в каком-то грязноватом зале с плотно занавешенными окнами, – боялись налета полиции, ибо уже имелся ордер на арест этого революционера. Люди столпились в душной комнате; и тут я воочию убедился, с какой страстностью бесправные и обездоленные тянутся к тем, кто может вселить в них хоть искру надежды. Нужно сказать, что в спасители этот человек вряд ли годился. Впоследствии он потерпел неудачу – вместе с другими он был выслан из США и недавно умер где-то за границей. Это не был вождь, а всего только человек горячего темперамента и беспокойного ума, который, задумавшись однажды над язвами жизни, с тех пор навсегда и совершенно бескорыстно отдал себя борьбе за дело рабочего класса. Но эта комната! И эти бледные, лихорадочные, изможденные лица! Маленькие фабричные работницы и служанки, не сводившие с него восторженных глаз! Мне казалось, будто я смотрю в окно на новый, неведомый для меня доселе мир. Будто я вижу Христа, задумчиво проходящего среди печальных теней преисподней.

Но это еще не все. Именно Оливия повела меня в мечеть и в то единственное в Нью-Йорке место, где происходили сборища огнепоклонников, и на запрещенное состязание в боксе. И наконец, в разгар душного нью-йоркского лета, когда я изнывал от зноя и вдобавок сидел без денег, именно она разыскала этот ресторанчик, устроенный каким-то незадачливым лодочником на старой барже, полузатонувшей в прибрежном иле у берега Северной реки близ Девяносто шестой улицы. Ресторанчик был самый захудалый, но зато там можно было за семьдесят пять центов получить очень хороший бифштекс или баранью котлету и посидеть летним вечером, любуясь на закат солнца или на мерцающие звезды. Лодки, проплывавшие мимо! Плеск воды у самого нашего столика! Веселая болтовня десятка собравшихся со всех концов города знакомых, которых Оливия уговорила сюда приехать. Я словно сейчас вижу, как около семи часов вечера они торопливо спускаются к берегу, предвкушая ожидающий их бифштекс с картошкой на увязшей в грязи барже. Причудливая прелесть этих вечеров! Такое чувство, словно тебя ждет какое-то неведомое приключение, – это и привлекло Оливию и побудило ее созвать нас всех, чтобы поделиться с нами своей находкой.

Однако я несколько отклонился. При встречах я всегда старался дать ей понять, что мой интерес к ней носит чисто духовный характер. Тем не менее я вскоре обнаружил, что, невзирая

на всю мою сдержанность, я, по-видимому, был избран ею для любовного приключения, как уже бывало со многими до меня. Вначале это ни в чем заметно не проявлялось. Она обращалась со всеми одинаково просто и дружелюбно. Однако, когда появлялся избранный, она улыбалась особенно обворожительно и протягивала руки в каком-то особом приветливом жесте, который красноречивее любых слов говорил: «Я рада тебе!» И всегда у нее находилась какая-нибудь новость, которой она делилась только с ним. Вскоре я стал замечать, что она все чаще приглашает меня одного, отдельно от других. То ей хотелось, чтобы я послушал в ее исполнении (кстати сказать, прекрасном) какой-нибудь романс или фортепианную пьесу, то у нее оказывалась какая-нибудь новая редкая книга, которой я еще не знал. Именно так мне довелось познакомиться с «Золотой ветвью» Фрезера, а также с произведениями Фрейда. (Позже я встретился у нее с американским последователем этого австрийца, известного своим истолкованием главного движущего импульса жизни.)

Однажды, за завтраком у нее дома, скрытый смысл ее отношения ко мне стал слишком уж очевиден. На столе было вино, в воздухе носился пряный запах курений. Оливия знала, как все это обставить, – кокетливо усадить вас в кресло, бросить для себя подушку на пол у ваших ног, придвинуть низенький столик, на котором стояли чашки с кофе, конфеты, фрукты, а порой лежала какая-нибудь книга или репродукция. И она умела принять самую грациозную позу. Но сначала мы отправились с ней в кухню, где приготовили яства для нашего пиршества, причем сам я выступал в роли помощника повара и судомойки. Именно здесь, в кухне, и, очевидно, не без умысла, она стала рассказывать мне историю своей жизни. Начало ее вам известно. Я уже пытался обрисовать ее отца – почтенного бородача из Солт-Лейк-Сити. По словам Оливии, она никогда не могла его понять и в восемнадцать лет ее так и подмывало сделать что-нибудь наперекор всем условностям и приличиям, которые он собой олицетворял. И вот в один прекрасный день, выбирая себе книгу в городской библиотеке, она встретила молодого адвоката, до той поры ей совершенно незнакомого, – в поисках способа сделать карьеру он неизвестно откуда появился в тамошних краях. Молодой человек был весьма любезен и недурен собой. Он помог ей выбрать книгу и посоветовал, что еще прочитать. Попутно он рассказал, где находится его контора, и договорился с Оливией о новой встрече – сперва в той же библиотеке, как самом удобном месте для таких свиданий. В дальнейшем он уже приглашал ее к себе.

Этот роман продолжался больше года. Как призналась мне Оливия, ее чувство к нему не было глубоким. Она шуточно пыталась оправдать столь длительную привязанность к этому человеку тем, что устраивать с ним свидания было отнюдь не легко. Возникавшие при этом препятствия разжигали ее интерес к нему. Молодой адвокат, разумеется, был уже женат. Но не опасность и не какая-нибудь катастрофа положили конец этой истории, а просто усталость, постепенно созревшее в душе Оливии сознание, что жизнь ее по-прежнему остается замкнутой в те же узкие рамки, что это приключение ничего ей не дало. Через несколько месяцев ей стало казаться, что ее возлюбленный не такой замечательный человек и что, пожалуй, она стоит большего. А его вполне устраивала собственная жена, которая была довольно богата; и, когда пришло время, он без особых волнений расстался с Оливией.

Вскоре после этого на сцене появился ее будущий муж, лесопромышленник из Спокэна, о котором я не раз слышал (впрочем, не от самой Оливии) как о грубом материалисте и неотесанном мужлане. По ее же словам, это был человек приятной внешности и очень богатый, но ограниченный. Для него существовало только то, что он мог видеть глазом, ощупать руками, сосчитать или измерить аршином. Ничто не казалось ему загадкой, кроме разве душевных болезней или каких-нибудь религиозных и политических химер. Его кумиром были деньги и все, что они приносили с собой: обширные поместья, собственные дома, дорогая мебель, счет в банке, место директора компании, общение на равной ноге с теми, кто, подобно ему самому, достиг богатства, или, по крайней мере, признание этими людьми его достоинств.

Позиция отца вызвала у нее недоумение. Вы помните, что, по собственному ее признанию, она никогда не понимала отца. Теперь же, в связи с его заботами об устройстве ее брака, он стал казаться ей еще более загадочным. Из всего, что он раньше говорил, можно было заключить, что самым важным в жизни человека он считает религию. Причем под религией он понимал не христианство вообще, а секту баптистов, к которой сам принадлежал. Именно секта была дорога ему – его церковь, членство в ней, те общественные и коммерческие выгоды, которые гарантировали ему живое участие в жизни общины. И, однако, стоило появиться этому кандидату в мужья, которого уж никак нельзя было назвать глубоко верующим человеком, – он, правда, был как-то связан с методистами, но, по-видимому, весьма поверхностно и непрочно, – как его немедленно ввели в дом и представили дочери, потому что мать и отец прекрасно понимали и не раз уже говорили, что ей пора выйти замуж. Есть там у него религия или нету, зато он богат! Он приехал в Солт-Лейк, чтобы присмотреть и купить какие-то пастбища. Отец был очень озабочен тем, чтобы дочь предстала перед ним в полном блеске: он позвонил домой, извещая, что приведет сегодня одного очень солидного человека, будущего клиента их банка, – не будет ли дочь так добра проявить к нему немножко внимания, хотя бы ради отца, – при этом ни слова ни о религиозных убеждениях, ни даже о личных достоинствах упомянутого джентльмена. Достаточно того, что он богат! Это в банке уже точно установили.

Как бы то ни было, по словам Оливии, лесопромышленник сразу же проявил к ней большое внимание. Он задержался в городе на много дней. Всякий раз, бывая у них в доме, он говорил о размерах своего состояния, приводя точные цифры, – прямо уши прожужжал и родителям Оливии, и ей самой. А когда он уходил, родители продолжали обсуждать эту тему. К этому надо прибавить, что одна из школьных подруг Оливии совсем недавно вышла замуж, притом весьма удачно, и с тех пор стала разговаривать с ней свысока. Самолюбие Оливии было уязвлено, а похвалы претенденту, расточаемые родителями, довершили дело. Что ж, по крайней мере, она будет богата! С другой стороны, все, что она уже слышала о необходимости, пока не поздно, обеспечить себя спокойным семейным очагом, подсказывало ей, что после истории с юристом благоразумно было бы оградить себя на всякий случай брачным свидетельством. И она стала отвечать на письма своего поклонника. Он приехал снова. Оливия рассудила, что, став замужней женщиной, она получит большую свободу и сможет наконец делать все, что ей вздумается. Так почему бы и не выйти замуж? К тому же она этим натянет нос своей школьной подруге. Когда лесопромышленник появился снова, Оливия дала согласие. Затем была свадьба – настоящее венчание в церкви, у Оливии в руках были лилии. Потом поездка на Гавайи, где у мужа Оливии даже во время медового месяца нашлись какие-то коммерческие дела, и наконец Спокэн.

В наше время, я думаю, всякий хорошо знает, до чего убога умственная и духовная жизнь в торговом американском городе средней руки – одном из тех, о которых в справочниках пишут: занимает девятнадцатое место по числу жителей, семнадцатое – по экономическим и финансовым данным и т. д. Но, когда Оливия рассказывала об этом, слушать ее было интересно. Общество дочерей американской революции (весьма влиятельная организация); Тагоровский литературный кружок; кружок Новых идей; Американская федерация женских клубов; не менее семи обществ для поощрения или, наоборот, для предотвращения чего-нибудь; прибавьте к этому религиозные дискуссии и беседы: некоторые почтенные семейства придерживались крайних сектантских взглядов. Рядом с этой, так сказать, интеллектуальной жизнью протекала жизнь деловая и светская видных людей города, их жен и дочерей – биржа, загородный клуб, торговый клуб, семейство таких-то с их автомобилем в семьдесят лошадиных сил, Констанция такая-то с ее избранным кругом друзей. В гостиных самых интеллигентных домов в те дни, как рассказывала Оливия, все еще можно было увидеть последние произведения Гопкинсон Смита, Марии Корелли и Томаса Нилсон Пейджа. Устраивались иногда несколько

старомодные живые картины. Билли Сандей считался крупной общественной фигурой, и его принимали в лучших домах.

Все это благоприятствовало, конечно, расширению умственного кругозора, да и сама Оливия в ту пору была, в сущности, пустой, хитрой, чувственной и тщеславной молодой особой; однако было, видимо, заложено в ней и что-то другое, благодаря чему она сильно изменилась, и даже очень скоро. Она поняла теперь, что не одни только деньги были ей нужны. Возможно, что лишь к этому времени она достигла той ступени, когда человек начинает обретать свое истинное «я». Во всяком случае, окружающая обстановка заставила ее уйти в себя и повысила в ней интерес ко всему, что не было похоже на то, что она видела вокруг. Она стала покупать и читать серьезные книги: исторические сочинения, романы, мемуары. Нужно сказать, что у мужа Оливии, к ее удивлению, оказалась хорошая библиотека – она целиком досталась ему от кого-то, кто вынужден был расстаться с ней! Однако чтение книг только усиливало ее неудовлетворенность. Избранные произведения Вальтера Скотта, Диккенса, Брет Гарта, Роу! Неудивительно, что в поисках более интенсивной духовной жизни она невольно стала искать общества людей, мыслящих иначе, чем те, кто ее окружал. Но пока она вращалась исключительно в кругу членов загородного клуба, гольф-клуба, яхт-клуба; вдобавок муж старался ей внушить, что его жена должна занимать такое же место в светском обществе, какое сам он занимал в мире финансов. Он постоянно заставлял ее приглашать и принимать гостей, которые могли быть ему полезны. Это вовсе не льстило ее честолюбию. Она стала увиливать и уклоняться от обязанностей хозяйки дома. Между супругами начались ссоры. В довершение всего Оливия как раз в это время сблизилась с молодой замужней женщиной одних с ней лет, которая испытывала почти такую же неудовлетворенность. Она была женой довольно богатого агента по продаже недвижимости и жаждала развлечений, но не по надоевшему светскому шаблону. Ее скорее привлекала деятельность левых, и в особенности сами левые.

Милях в пятнадцати или двадцати от города, в котором жила Оливия, находился маленький курорт или колония, где проводили свой отдых деятели рабочего движения. Сейчас там поселились несколько писателей и пропагандистов, интересовавшихся профсоюзной борьбой, которая в то время разгоралась в западных штатах, среди них – широко известные шведские, норвежские, а также американские и английские агитаторы. Эта колония пользовалась сомнительной репутацией из-за того, что, по слухам, там жило несколько супружеских пар, которые, однако, не состояли в законном браке. Доказательств, правда, не было, поэтому спокэнское общество не возмущалось открыто, но в Спокэне на колонию смотрели косо уже хотя бы потому, что там жили люди, связанные с рабочим движением. Однако новая знакомая Оливии по каким-то своим личным причинам относилась к этим людям дружелюбно. Ее приятельница, жена одного из главарей колонии, много рассказывала ей об их идеях и целях; все это очень ее заинтересовало. Не хочет ли Оливия встретиться с кем-нибудь из них? В их среде можно завязать интересные знакомства с умными образованными людьми. Не хочет ли Оливия пойти туда? Вот так и получилось, что обе молодые женщины рискнули в конце концов появиться в колонии.

Как она теперь вспоминала, атмосфера этого места поразила ее. Там было мало денег, но много идей и ярких индивидуальностей. Между прочим, там жил молодой поэт-революционер, с которым у Оливии завязался безнадежный роман. Его звали Джитеро (впоследствии, как сказала она, он погиб в одной из забастовок; именно он познакомил ее с бунтарской литературой: с Марксом, Стриндбергом, Ибсеном, Горьким, Кропоткиным и Генри Джорджем). Она стала назначать ему тайные свидания в своем доме, и вскоре мистеру Х. Б. Бранду, ее мужу, начали со всех сторон намекать, что под его семейным кровом далеко не все обстоит благополучно. Его жену и миссис Рилтор видели в пресловутой колонии. В его отсутствие какой-то проходимец из той же колонии время от времени посещает его собственный дом.

Произошла бурная семейная сцена. Бранд требовал, чтоб ему сказали правду, Оливия отвечала уклончиво. Она просто интересуется этими людьми, вот и все. Эти радикалы милые люди, во всяком случае очень культурные. Что в них плохого? Однако Бранд, преуспевающий делец, член торговой палаты, видная фигура в семнадцатом по числу жителей городе США, очень хорошо знал, что в них плохого! Это же сборище головорезов! Анархисты, социалисты! Их надо арестовать, посадить за решетку, вышвырнуть вон из страны! Он не потерпит, чтобы подобная шваль являлась к нему в дом, он требует, чтобы его жена на пушечный выстрел не приближалась к этой колонии. Она не умеет или не желает поддерживать знакомство с порядочными людьми, с людьми своего круга, что ж, пусть! Но с этими-то она во всяком случае не должна связываться. Она погубит себя, да и его тоже – последнее, вероятно, в какой-то мере соответствовало истине.

К несчастью для него, благодаря этим новым знакомствам умственный кругозор Оливии значительно расширился. Она уже больше не считалась со своим мужем и его друзьями; а радикалы ей нравились – во всяком случае, ее увлекали идеи, за которые они боролись, – и муж стал ей теперь казаться недалеким, жадным, самонадеянным и невежественным человеком. Он богат, да, но, очевидно, для того, чтобы делать деньги, как раз и нужна, по крайней мере в некоторых случаях, жадность и известная ограниченность; такой человек неизбежно отгораживается от всяких интеллектуальных, романтических и уж тем более революционных интересов. Оливия стала задумываться над тем, как бы ей выйти из неприятного положения, в которое она попала. Правда, ей было еще нелегко отрешиться от тех консервативных понятий, которые внушались ей с самого раннего детства.

Но заставить себя подчиниться она не могла, да и не хотела. Она не желала отказываться ни от дружбы с миссис Рилтор, ни от радикалов. Начались тайные встречи. Была перехвачена записка. Оливии было приказано покинуть дом, а когда она уже собралась уезжать, ей приказано было остаться – проявление слабости, которой, по ее признанию, она не замедлила воспользоваться. Она попробовала было защищать своих новых друзей, что возмутило мужа еще больше, чем перехваченная записка, ибо, как он и опасался, Оливия оказалась зараженной ядом радикализма. Однако, понимая теперь, что муж слишком сильно привязан к ней и что ему не так-то легко с ней расстаться, она продолжала стоять на своем и сделала еще одну попытку уйти. Кончилось это тем, что муж в исступлении изорвал на ней платье и запер ее на ключ. Затем он плакал, просил прощения и купил ей дюжину новых платьев взамен изорванного.

Но это было только начало. Муж стал допытывать ее расспросами о ее поведении, ее взглядах и разговорами об обязанностях по отношению к нему и к обществу. Он даже грозился ее убить. Однажды он избил ее и, когда она пыталась бежать, пригрозил, что все равно поймает и опять исколотит, а то и убьет. Хуже того, он объявил, что напишет ее родителям или поедет к ним сам и обо всем расскажет. Это, и только это, остановило Оливию, ибо какой бы мятежный дух ни владел ею, она все же не решалась совершить поступок, который мог подорвать престиж родителей, повредить их положению в обществе и нарушить их покой, – они ведь ничего не знали о ее изменившихся взглядах и уж никак не могли им сочувствовать. Для них это был бы удар, в особенности для отца, а Оливия страшилась его взволновать.

Тем временем ее муж, воспользовавшись этим затишьем, повел против колонии такую атаку через местные газеты, что ее существованию пришел конец. Обитатели ее были разогнаны. Но Бранд, очевидно, не понимал, что он имеет дело с растущим и меняющимся организмом, и в одно прекрасное утро этот организм объявил за завтраком, что между ними все кончено. Ей не нравится Спокэн. Ей не нравится муж. Она не намерена больше жить с ним, независимо от того, как он будет с ней обращаться. Дом, автомобиль, деньги – ничего ей больше не нужно. Она уходит и будет жить самостоятельно. Поедет в Нью-Йорк и поступит в Колумбийский университет, проверит себя – а вдруг у нее есть литературные способности, и тогда она

будет писать рассказы и пьесы! Она больше не может бездельничать и вести светскую жизнь. Пусть он для этого поищет себе другую. С нее довольно!

Сперва Брандом овладела ярость, потом он растерялся и наконец перепугался не на шутку. Он остался дома, следовал за ней в спальню, долго стоял молча за ее спиной и потом взволнованно спросил: «Чем же я плох, Оливия? Или я просто противен тебе? Да? В этом все дело?» Оливия говорила, что в эти минуты в нем было что-то жалкое и пришибленное. Впервые за все время, что она его знала, его безграничная самонадеянность, которая всегда так подавляла окружающих и даже ее, казалось, покинула его. Ей хотелось дружески поговорить с ним, объяснить ему, растолковать, но она тут же почувствовала, что это безнадежно. Он не способен понять ни ее, ни самого себя. Да и она тоже вряд ли понимала его. Но она твердо знала, что, только уехав, она сможет подавить свою неприязнь к нему. В тот вечер она сказала лишь, что оставаться в его доме для нее невозможно.

Тогда он стал уговаривать ее пойти на уступки. К чему так решительно порывать с ним? Она хочет поехать в Нью-Йорк – хорошо, пусть едет, он будет оплачивать ее пребывание в университете и прочие расходы при условии, что, когда пройдет срок, скажем два года, она вернется и попробует снова жить с ним и в его кругу. Может быть, им все-таки удастся поладить. За это время он и сам, может, изменится. Не разрешит ли она изредка навещать ее в Нью-Йорке, просто чтобы взглянуть на нее? Он обещает, что это будет всего лишь дружеский визит, не больше. Да, и еще одно условие – раз уж он будет оплачивать ее расходы, ему хотелось бы, чтобы она держалась подальше от всяких радикалов, в особенности от этого поэта, и не нарушала супружеской верности, по крайней мере до тех пор, пока не решит уйти навсегда. Все эти подробности я узнал гораздо позже, частью от самой Оливии, а частью от других лиц, чьи показания против Оливии мистер Х. Б. Бранд пытался впоследствии использовать. А в тот вечер она представила события в несколько ином свете; во всяком случае, она не упомянула о всех условиях, которые поставил ей муж.

Итак, я узнал наконец, что именно скрывалось за нью-йоркской квартирой, автомобилем, мебелью, картинами и всем прочим. Со стороны мужа вполне естественно было хотеть, чтобы она жила в роскоши, как и подобает жене мистера Х. Б. Бранда. Между прочим, как я узнал впоследствии, квартиру он оплатил вперед за три года. Но хотя мне тогда и не были известны условия их соглашения, особого сочувствия вся эта история во мне не вызвала. Я не был влюблен в Оливию, и неразрешимые конфликты, происходящие от несходства характеров, мало меня трогали. Единственно правильным решением я считал полный разрыв – на любых условиях. Мне была неприятна мысль, что ее весьма романтическая и легкомысленная жизнь оплачивалась именно его деньгами. Впрочем, кто я такой, чтобы предписывать людям правила морали? Оливия интересовала меня как личность, интересуется и по сей день, через десять лет после ее смерти. Мне казалось тогда – да я и сейчас так думаю, – что она в те годы еще сама себя не понимала, или, быть может, ее внутренняя жизнь горела тогда столь ярким пламенем, что для нее затмевалось различие между понятиями «мое» и «твое». Так бывает. С другой стороны, сумму, которую предоставлял ей муж, ни он, ни она, вероятно, не считали значительной. Он ведь был в самом деле очень богат. Однажды я спросил Оливию, не собирается ли она по истечении трех лет вернуться к мужу, и она, помнится, ответила, что нет, не собирается, добавив, что к тому времени он, пожалуй, и сам не будет так уж настаивать на ее возвращении, – замечание, которое поразило меня своей трезвостью и хладнокровием. И все-таки она мне нравилась. В ней было столько живости и очарования, и никогда нельзя было предугадать, что она скажет или сделает.

Тем не менее этот завтрак с его романтическим вступлением ни к чему не привел. Около пяти часов мы расстались и после этого не виделись несколько месяцев. Затем, как-то зимним вечером, у меня раздался телефонный звонок – это была она. Целая вечность, как мы не виделись, правда? Ну что ж, хоть я и забыл ее, она меня помнит. Не приду ли я сегодня к чаю, у

нее будут две очень интересные женщины. Я счел за лучшее отказаться. В следующий раз она предложила мне присоединиться к небольшой компании, которая собиралась куда-то поехать. Я опять отказался, не помню почему, кажется, я был уже приглашен в другое место. Вскоре после этого Оливия сама пришла ко мне. Она была очень просто одета и держалась не так, как всегда. Почему я избегаю ее? О ней ходят какие-то сплетни, может быть, в этом дело? Да ни в коем случае, возразил я. Сплетен я никаких не слышал, и они меня ни капельки не интересуют, а вот сама она меня очень интересуется и сейчас, и всегда. Я рад, что она пришла, очень приятно снова ее видеть.

Она тотчас же стала говорить о себе с такой откровенностью, словно я был ее исповедником. Ее жизнь – это сплошная цепь ошибок, теперь она это видит. Но она всегда тянулась к чему-то лучшему. Хотите – верьте, хотите – нет, но она всегда, может быть бессознательно, стремилась расти. Ей ставили всяческие преграды, но это стремление оказалось сильнее голоса благоразумия. Может быть, она не всегда поступала правильно. Да, да, это, конечно, так. Но в ее жизни все-таки было две по-настоящему значительных полосы – ее знакомство с теми, кто борется и мыслит, и вот эти последние годы в Нью-Йорке. Мысль учиться в Колумбийском университете, которая вначале увлекала ее, оказалась ошибкой. Нельзя научиться быть писателем. Для этого нужно жить и понимать жизнь. Теперь она в этом убедилась, а также в том, что писательское мастерство – это особый дар, зависящий от личности и характера человека.

Но это еще не все. Я, наверно, считаю, что она не совсем красиво поступила с мужем, может быть, это меня оттолкнуло? Но я не должен судить ее слишком строго. В прошлый раз она, видимо, недостаточно ясно изложила мне, как все происходило. Она не была бедна до замужества и, выходя за Бранда, скорее выполняла волю родителей, чем следовала собственному желанию. К тому же она была тогда еще совсем неразумной девчонкой. И разве она не прожила с ним два года, – он сам говорил, что был с ней счастлив! А что он дал ей взамен? Только вещи, не имевшие в ее глазах никакой цены. Кроме того, он очень богат. Почему бы ему не помочь ей немного, тем более что скоро она уже ничего не будет от него брать? У нее есть план. Она хочет жить самостоятельно. Это будет трудно, так как после окончательного разрыва с мужем ей уже нельзя будет обращаться за помощью к родителям. Они, конечно, станут на его сторону. Но так или иначе, она попытается сама пробить себе дорогу. Она будет работать. Разве это плохо? Так почему бы нам теперь снова не стать друзьями?

Я не стал высказывать свое мнение о ней, хотя оно было самое лестное. Я просто заметил, что, по-моему, она избрала правильный путь, я не сомневаюсь, что она добьется успеха и что мы с ней никогда не переставали быть друзьями.

Недели две спустя она позвонила мне и сказала, что пытается пересдать свою квартиру на оставшийся срок (около года) и, кроме того, продать мебель и автомобиль. На вырученные деньги она снимет более скромную квартирку, о да, гораздо более скромную. Она будет вести тихую и уединенную жизнь и попробует писать. И тем временем постарается получить развод, если это возможно, или предложит мужу начать бракоразводный процесс. Квартиру она скоро нашла, переехала и пригласила меня к себе. Она жила теперь в северной части города, близ Сто девяносто шестой улицы, в новом, менее привлекательном и более бедном квартале. Дом был пятиэтажный, с крошечным лифтом, которым можно было пользоваться лишь в тех редких случаях, когда негр-лифтер, исполнявший также все прочие работы по дому, оказывался на месте. Стоимость этого жилища едва ли превышала тридцать пять или сорок долларов в месяц. Квартира Оливии находилась на третьем этаже: небольшая гостиная, спальня, крохотная кухонька и ванная – только и всего. Зато всюду по стенам – и в гостиной, и в спальне – теснились на полках книги. И какие интересные! Почти все оставшееся пространство занимали пианино, виолончель и пишущая машинка. Уютный уголок! Из окна кухни открывался широкий вид на город, но, увы, только из этого окна.

Не могу сказать, чтобы здесь, в этой новой обстановке, Оливия показалась мне более практичной и благоразумной, чем прежде. Все та же мечтательница и поэт в душе. Правда, она все же менялась понемногу, но стремление к какому-то неведомому идеалу не позволяло ей ни на чем успокоиться. Она сказала, что ей хотелось бы написать большое произведение, выразить в нем свои мысли и взгляды и тем проложить себе дорогу в литературу. Теперь она с каждым днем нравилась мне все больше. Постепенно я стал замечать, что гардероб ее становится скромнее, что отнюдь не огорчило меня, ибо в прежнее время платьев у нее было гораздо больше, чем нужно. Меня заинтересовало еще и то (видимо, и ее это удивляло), что, хотя здесь у нее уже не было возможностей оказывать столь щедрое гостеприимство, как прежде на Риверсайд-Драйв, ее и теперь окружала толпа таких интересных людей, каких редко встретишь даже в свите нью-йоркских знаменитостей, – редакторы, писатели, художники, пропагандисты, социалисты, анархисты, консерваторы – все кто угодно. По крайней мере, два или три раза в неделю ее комнаты наполнялись людьми, приехавшими в такую даль только затем, чтобы повидать ее, не рассчитывая ни на изысканный обед, ни на хорошее вино.

Но случилось так, что именно теперь, когда она окончательно решила порвать с прежней жизнью, на нее обрушилась настоящая беда. Ее муж явился в Нью-Йорк незадолго до ее переезда и объявил ей, что все это время он был осведомлен о том, какой образ жизни она вела и, по его убеждению, продолжает вести. И что, если она к нему не вернется, он не даст ей больше ни гроша, мало того – сообщит все ее родителям и опозорит ее публично. Он теперь относится к ней уже не так, как два года назад. Ее поведение, пока она жила одна – и притом на его средства, – убило в нем всякое чувство. Она такая, она сякая. И все-таки видно было, что он продолжает любить ее какой-то странной, болезненной любовью. Ибо в заключение он сказал (я объясню потом, как мне это стало известно), что, хоть она и порочна до мозга костей и, без сомнения, заслуживает всяческой кары, все же, если она вернется и будет вести себя как полагается, он не станет применять к ней те крутые меры, которыми грозил.

Узнал я обо всем этом вот как. Однажды в мою дверь позвонили, а как раз незадолго перед тем у меня была Оливия и рассказала, сколько неприятностей ей доставляет муж, что это за тяжелый человек, совершенно не способный ее понять, и как он теперь пытается силой принудить ее к тому, на что она никак не может согласиться. И вот теперь этот человек стоял передо мной – среднего роста крепыш, чисто выбритый, подвижной, с властными манерами. Он имеет честь говорить с таким-то? Совершенно верно. Если он не ошибается, я являюсь другом Оливии Бранд и одним из ее поклонников и доброжелателей? Надеюсь, что это так. В таком случае он хотел бы поговорить со мной. Не могу ли я уделить ему несколько минут? То, что он хочет сказать, близко касается как Оливии, так и его самого. Я пригласил его пройти в кабинет, и он тотчас же принялся красноречиво рассказывать мне о подробностях своей неудавшейся семейной жизни. Что за прелестная девушка была Оливия, пока ее не отравил этот яд радикализма! Какие порядочные люди ее родители! Она была прекрасно воспитана, и он надеялся, что она сумеет оценить то общественное положение, которое он мог обеспечить ей в Спокэне. Но эти радикалы, они совсем сбили ее с толку. Она пошла по ложному, безумному пути, который неизбежно кончится гибелью. Подумайте только, какую жизнь она ведет здесь, в Нью-Йорке! И тут он стал выкладывать факты, которые, очевидно, мог узнать только через агентов, нанятых им для слежки за Оливией. К ней в дом ходят такие-то и такие-то лица, прощельги из Гринвич-Виллиджа – как он их окрестил, – непризнанные и освищенные художники и поэты, бунтовщики из ИРМ и тому подобный сброд, бесстыжая, беспутная шайка. Оливия и сейчас продолжает посещать либеральный клуб – ему это точно известно, он может это доказать. Она водит знакомство и постоянно встречается с Эммой Гольдман, Беном Рейтманом, Биллом Хейвудом, Мойером и другими отъявленными радикалами и рабочими лидерами! Она даже принимала участие в стачках: помогала готовить обеды для забастовщиков и работала на их продовольственных пунктах. Он говорил и говорил, и в углях его твер-

дого рта все резче залегала упрямая складка, квадратный подбородок выдвинулся вперед, глаза сверкали. Убежденность этого человека положительно зачаровала меня. Удивительный экземпляр! А весь его облик – безупречного покроя костюм, новые, до блеска начищенные ботинки, яркий галстук бабочкой, подчеркивающий белизну его рубашки и низкого воротничка!

«Какое кричащее противоречие между этим мужчиной и этой женщиной!» – подумал я. И они воображали, что смогут жить вместе! Какая яркая иллюстрация слепоты и недомыслия, которые человек так часто проявляет в юности, а нередко и в более зрелом возрасте. Неужели он и сейчас продолжает всерьез думать о ее возвращении, о возможности примирения? В какой же ад превратится их жизнь, если он все-таки заставит ее вернуться! Я с любопытством смотрел на него. Он, очевидно, считал, что я имею влияние на Оливию, и не сомневался, что я стану на его сторону. Я начал было объяснять ему, что, по-моему, они слишком различные люди и по складу ума, и по характеру и разногласия, которые у них возникают, нельзя разрешить путем споров и насилия. Они по-разному смотрят на жизнь. То, что ему кажется ужасным, ей таким вовсе не кажется, да и мне тоже, если уж говорить откровенно. По всем этим причинам с величайшей кротостью я пытался внушить ему, что самое разумное было бы оставить ее в покое. Он может, если угодно, лишиться ее материальной поддержки (насколько я понял, он уже это сделал), но пусть не мешает ей идти своим путем и самой решать свою судьбу.

Тогда он вдруг расsvирепел. Нет уж, простите, этого он никак не потерпит! Она испорченная женщина, развратница, мотовка! Или пусть немедленно возвращается к нему и живет с ним, или он выведет ее на чистую воду! Он давно уже следит за каждым ее шагом. Ему известны все ее знакомые и то, в каких она с кем отношениях. Вот погодите, узнают обо всем ее родители! И все ее друзья в Солт-Лейк-Сити и все родственники! Он наймет юристов и репортеров. Он поднимет на ноги прессу и сотрет с лица земли Гринвич-Виллидж и всех этих радикалов. Он ей покажет! Тут я заметил, что нам, пожалуй, лучше расстаться. Не стоит ему понапрасну тратить красноречие. Я не имею никакого влияния на Оливию, а если бы и имел, то не воспользовался бы этим, чтобы способствовать возобновлению их союза, который расцениваю как досадную ошибку. Бранд с достоинством удалился, и больше я его не видел.

Примирение так и не состоялось. Бранд всячески досаждал Оливии и даже запугивал ее, и временами было заметно, что она от этого очень страдает. Ее переписку перехватывали и вскрывали; телефонные разговоры подслушивали и передавали ему. Ее знакомым звонили по телефону: «Это такой-то?» – «Да». – «Вы знаете Оливию Бранд?» – «Разумеется». – «Это говорит ваш доброжелатель. Советую вам от нее держаться подальше. Вы знаете, чем она больна?» (Следовали обычные в таких случаях инсинуации.) И подумать только, что эту войну против Оливии затеял человек, который уверял, что любит ее и хочет, чтобы она с ним жила! Кое-кого из ее знакомых, даже тех, кому она нравилась, это отпугнуло. Что же касается других (а также и меня), то их отношение к ней несколько не изменилось. Все же Бранду удалось до некоторой степени сделать из нее парию, к чему он и стремился; странно только, что при этом он все еще желал ее возвращения.

Бранд, во всяком случае, добился одного: спасаясь от его преследований – он следил буквально за каждым ее шагом, – Оливия снова переехала, на этот раз ночью, в небольшую квартирку в Ист-Сайде, где не было телефона, который можно контролировать, и где она поселилась под другим именем. В то же время она съездила в Солт-Лейк-Сити к своим родителям специально для того, чтобы предупредить, насколько возможно, те скандалы, которые Бранд намеревался учинить. Однако, как она мне потом говорила, эта поездка не принесла результатов. Оливии даже не удалось успокоить своих родителей. Теперь, совершенно очевидно, они считали во всем виноватой дочь, а ее мужа – олицетворением законности, порядка и всех прочих добродетелей. Ее отец был в плену ортодоксальных и консервативных взглядов и не одобрял развода. Что сделано, то сделано. Почему бы ей не вернуться к своему богатому мужу?

Но эта крошечная квартирка в Верхнем Ист-Сайде! И как сама Оливия была теперь не похожа на прежнюю! Помню, я однажды встретил ее на Первой авеню, близ Шестьдесят шестой улицы. На ней было простенькое бумажное платье, а в руках корзинка с провизией и какой-то журнал. Если не считать туалета, она очень мало изменилась, и здесь, в кишасшем людьми Ист-Сайде, показалась мне даже более интересной, чем на Риверсайд-Драйв. Она предложила зайти к ней, и, поднявшись по каменной лестнице на четвертый этаж, мы оказались в ее новой квартире – всего лишь кухня (которая служила одновременно столовой) и смежная с ней жилая комната. Но здесь было опрятно и чисто, а из окон открывался прекрасный вид на реку. В комнате были все ее книги, пианино и пишущая машинка. Оливия объяснила, что поведение мужа вынудило ее избегать друзей, и в конце концов, не желая подводить их под неприятности, она решила спрятаться от всех. Она теперь пишет или пытается писать рассказы, стихи, очерки и даже пьесу. И если когда-либо ей удастся опубликовать результаты своих трудов, то она сможет жить счастливо, одна или еще с кем-нибудь, но, во всяком случае, свободно и независимо. Так, по крайней мере, она надеялась.

Все же начиная с этого времени жизнь ее стала не легче, а труднее. Правда, не так уж надолго. По словам Оливии, Бранд, прежде чем возбудить дело о разводе, отправился к ее родителям и такого наговорил о ее поведении, что они перестали ей даже писать. Затем он наложил запрет на ее прежнюю квартиру и проданную мебель. А мы все хорошо знаем, каковы доходы начинающего писателя, в особенности если он стремится писать серьезные произведения. Оливия же вдобавок еще не представляла себе ясно, что она может писать и что нравится публике. Поэтому в первый же год жизни в Ист-Сайде ей пришлось расстаться и с пианино, и с виоллоной. Похоже было, что ей угрожает настоящая бедность. Поистине дорогой ценой платила она за свои убеждения и идеалы.

А затем...

Но прежде чем перейти к дальнейшим событиям, мне хотелось бы рассказать о двух трогательных эпизодах, относящихся ко времени ее жизни в Ист-Сайде. Однажды вечером я зашел навестить Оливию, и она показала мне письмо, которое было подсунуто ей под дверь: написал его поэт, один из тех пылких любовников, которые стремительным натиском покоряют сердца женщин. Он был не лишен дарования, писал стихи; впоследствии он завоевал себе славу на полях сражения во Франции. Он узнал о ее невзгодах и о том, что она вынуждена скрываться. Прекрасное это было письмо – полное преклонения и искреннего чувства; любая женщина была бы рада получить такое послание. Он говорил о ее белом задумчивом лице, ее темных волосах, он сравнивал их с перламутром и черным янтарем. Она терпит нужду? Он был бы рад помочь ей. Но если она даже никогда больше не вспомнит о нем, никогда не удостоит его взглядом, все равно он будет вечно хранить память о ее облике, слышать музыку ее шагов. И затем спустя две-три недели она нашла на том же месте конверт с деньгами. Как видно, он решил, что она в самом деле голодает.

Потом один из тех рабочих лидеров, о которых я уже упоминал, человек в своем роде выдающийся, разыскал Оливию и предложил ей помощь. Позже я как-то заговорил с ним о ней, и он сказал, что из всех женщин, сочувствующих рабочему движению, которых ему случалось встречать, Оливия не то что больше всех понимала, но была самой отзывчивой и умела воодушевить других. «Она помогала нам во время стачек в Лоуренсе и Патерсоне, – сказал он. – А это всегда сопряжено с опасностью, трудностями и риском. Она близко принимала к сердцу тяжелое положение рабочих, она сострадала голодным и угнетенным, но больше всего ее, пожалуй, увлекало другое – героизм, благородство, красота, которые она видела в этой почти безнадежной борьбе. Не нужно было даже близко общаться с ней, поглядишь на нее – и довольно. Своей улыбкой, своей верой она, казалось, воодушевляла людей. Мне она много дала. Пожалуй, можно сказать, что она меня вдохновляла».

И вот однажды, еще в то время, когда Оливия жила в Ист-Сайде, я получил от нее по почте стихи. Они были адресованы мне, и мое имя стояло в посвящении. Перечитывая их, я понял, что эта женщина способна на нечто большее, чем поденная литературная работа, что она могла бы подняться до вершин подлинного творчества, где живут, мыслят и творят те, кто властвует над умами человечества.

Я выразил ей свое искреннее восхищение стихами, тем, как она умеет тонко чувствовать и передавать движения человеческой души; однако в наших отношениях не появилось ничего нового; это была по-прежнему теплая дружба. Она знала, что я верно понимаю ее, вижу в ней мечтателя, вечно стремящегося к чему-то, человека, который смотрит широко открытыми глазами на все явления жизни, задумывается то над одним, то над другим, но все же чувствует, что жизнь остается и навсегда останется неразрешимой загадкой, той единственной тропой, которая подводит нас к вратам красоты.

Еще раньше я просил вас запомнить одного журналиста, который был в числе гостей на обеде у Оливии, когда я впервые посетил ее. Это был интересный человек – для меня, во всяком случае. О нем стоило бы написать отдельную новеллу. Время показало, что он этого вполне заслуживает. Но новелла эта никогда не будет написана. Поэтому расскажу о нем здесь. Среди множества людей, которых я встречал в Нью-Йорке и время от времени принимал у себя, Джетро почему-то запомнился мне, – что-то в нем было такое, что произвело на меня сильное впечатление. Но что, однако? Порой спрашивал я себя. Он не был человеком высокоодаренным – или все-таки был? Грубоватый в своих вкусах и склонностях, любитель развлечений – вечеринок, банкетов, театральных премьер, завсегда в мире кулис и богемы... Стоило, однако, час поговорить с ним, и вы видели, что это на редкость образованный человек, который по первоисточникам изучал историю, науку и искусство и умел применить эти знания в своей работе редактора и публициста. Но он был лишен той чуткости и тонкости, без которых... Ну, вы сами понимаете. И вместе с тем была в нем какая-то червоточинка, как будто временами в полнокровном голосе этого жизнерадостного человека, неутомимого спорщика, самоуверенного критика, проскальзывал чуть слышный, заглушенный, едва уловимый призыв к унынию, сомнения, жалобы. Я всегда с удивлением замечал это.

Прошло более полугодом с тех пор, как Оливия была вынуждена перебраться в Ист-Сайд и оттуда прислала мне свои стихи. Я провел зиму на юге и месяца четыре не видел Оливии. И вот однажды раздался стук в мою дверь – на пороге стоял Джетро. Он только что узнал о моем возвращении, он хочет сообщить мне нечто важное.

– Вы ведь один из самых близких друзей Оливии, – начал он.

– Надеюсь, что так, – ответил я.

– Видите ли, за последнее время – вы этого, конечно, не знаете – я очень сблизился с Оливией. Мы собираемся пожениться, как только будет решено дело о ее разводе. Сейчас уже почти все улажено, мы просим вас, когда придет время, быть у нас шафером. Это ее желание. – И он посмотрел на меня так, словно хотел сказать: «Какая неожиданность для вас! Однако это так».

– Да что вы говорите! Это чудесно! Поздравляю! – ответил я. – Передайте сердечный привет Оливии. Но как же все-таки с разводом? Я думал, у нее ничего не вышло. Неужели достопочтенный Х. Б. Бранд уступил?

– Все сделано и улажено, – ответил он. – Беда Оливии в том, что она непрактична. У нее удивительная способность выставлять себя в невыгодном свете. И все потому, что с самого начала она действовала неправильно. Ну да сейчас речь не об этом. Мы все-таки поженемся. Теперь я сам взялся за дело. Я только что был у этого самого мужа, прежде чем пойти к нему, я заручился заверенными показаниями нескольких человек, которым кое-что известно не только о ней, но и о нем; между прочим, кое-кого из них Бранд пытался подкупить. Вряд ли ему понравится, если подобные факты опубликуют спокэнские газеты. – Джетро усмехнулся. – Я,

впрочем, не сомневался, что он просто старается взять ее на испуг. Одним словом, я нанял в Спокэне двух юристов, и мы втроем заставили его понять, что к чему. Я заявил ему, что хочу жениться на Оливии. В конце концов он согласился, чтобы она начала дело о разводе здесь, в Джерси. Так что, видите, все это скоро будет кончено. Поэтому-то я и зашел к вам сегодня.

Это известие поразило меня до крайности; но, в общем, брак казался мне счастливым поворотом в судьбе Оливии, ибо Джетро во многих отношениях был надежный и солидный человек, весьма неглупый и к тому же со средствами. Если он нравится Оливии, то в добрый час! Странно, конечно, что ее избранник не поэт или какой-нибудь герой, – человек большого таланта был бы скорее под пару ее незаурядной личности. Но может быть, в Джетро есть что-то такое, чего я не заметил. Я призадумался.

...Между тем они поженились, и не где-нибудь, а в городской ратуше, и сам мэр, друг Джетро, официально скрепил этот союз. Я был среди присутствующих и расписался в книге брачных свидетельств. Незадолго до этого Джетро снял дом в Верхнем Ист-Сайде и с помощью Оливии, под ее руководством, обставил его. Книжки, книжки, книжки. Большая уютная гостиная с камином, столовая, библиотека, отдельный рабочий кабинет для Оливии и такой же для Джетро – на разных этажах. Несколько спален с ванными комнатами; новое пианино и виолончель. И как они всегда бывали мне рады! Они постоянно звонили, чтобы узнать, когда я приду к ним обедать. Но оба они в новых ролях верного мужа и верной жены невольно забавляли меня, ибо, подобно Оливии, Джетро до брака вел далеко не добродетельную жизнь.

Я с самого начала заподозрил – и чувство меня не обмануло, – что в основе этого союза лежало не одно сродство душ и темпераментов со всем, что отсюда вытекает. Оливия, как я знал, была не только глубоко эмоциональной натурой, но еще и идеалисткой. Так почему же в конце концов она остановила внимание именно на Джетро? Его ум? Но разве он обладал таким живым, прелестным умом, как у нее? Конечно же нет! Ум его был трезвый и здравый и сочетался с щедрым языческим темпераментом. Джетро был к тому же человеком очень образованным, но достаточно ли этого для нее? При ее эмоциональности, ярком воображении, вечном стремлении вперед, пылкости, которая, казалось, ни на чем не могла успокоиться? Или для нее тоже наступило успокоение? Что же касается денег или его моральной и физической приспособленности к жизни, то я не верил (в особенности после того, как имел случай наблюдать Оливию в Ист-Сайде), что для нее это качество может послужить приманкой. Но если не это, так что же?

Я часто внимательно приглядывался к каждому из них, особенно когда они бывали вместе. Зная Джетро и его былую склонность к ночным увеселениям, а также прежнее непостоянство Оливии, я иной раз не мог удержаться от прозрачных намеков и каверзных вопросов.

– Как вы все это себе объясняете, Оливия? Я думал, что вам больше, чем кому бы то ни было, эта тихая семейная жизнь среди кастрюлек и метелок должна бы казаться... ну, духовно скудной, что ли? Немножко пресной? – На что она обычно отвечала только взглядом или своей странной улыбкой Джоконды, а глаза у нее были продолговатые, темные, восточные, непроницаемые. Но однажды она сказала:

– Есть многое на свете, друг Горацио...

– Я так и думал, – ответил я.

В другой раз, когда Джетро, повязав белый передник вокруг своей объемистой талии, хозяйничал на кухне, я сказал ему:

– Это выше моего понимания! В ночных клубах, наверно, горько оплакивают потерю самого усердного их посетителя.

– Во-первых, – отвечал он, – вы видите, я занят – поджариваю ветчину; во-вторых, вы, как я понимаю, пытаетесь посеять семена раздора на этой мирной ниве. Имейте совесть!

Но вопреки всем моим сомнениям, они, казалось, понимали друг друга. И вскоре, в течение первого же года, мне стало ясно, что же их все-таки сблизило. Я не знал раньше,

что Джетро, прежде чем окончательно заняться журналистикой, лелеял мечту стать писателем. Теперь Оливия мне рассказала, что он пробовал писать рассказы, очерки, пьесы, но безуспешно. И несмотря на всю свою внешнюю браваду, в глубине души он постоянно чувствовал неудовлетворенность. Именно это и было причиной того душевного надлома, который я всегда ощущал в нем, хотя и не понимал его происхождения. Со своей стороны, и Оливия мечтала о том же, но она, хоть и была гораздо моложе, успела достичь большего. Правда, ей не удалось еще напечатать ни одного из своих произведений, но в ее письменном столе уже накопилось немало стихотворений, очерков, несколько рассказов и даже пьеса, по которым нужно было только слегка пройти опытной рукой, чтобы придать им завершенность. Когда Джетро познакомился с этими литературными опытами, он по достоинству их оценил, и если прибавить, что он всегда был искренне расположен к Оливии, что она нравилась ему как женщина, то станет понятным то чувство, которое привело их к браку. Она же видела его слабости, понимала, к чему он стремится, и, питая к нему дружескую привязанность, вскоре предложила работать сообща на литературном поприще: они будут вместе писать рассказы, пьесы, даже романы. Поэзию и очерки она оставила себе (так как в этих жанрах можно легче передать свои собственные настроения и переживания). С другой стороны, поскольку Джетро интересовался наукой, философией, историей и жанром биографии, эти темы были отданы ему. Но больше всего ему хотелось писать новеллы и пьесы, в особенности пьесы. Поэтому вскоре после женитьбы они усердно принялись за работу и написали несколько пьес, которые все были значительны и интересны, а одну через год удалось поставить на сцене.

Как это воодушевило Джетро! Какую удовлетворенность ему принесло! Каким восторженным преклонением, доходившим до обожания, окружил он свою необыкновенную жену! Ночные клубы? Вот еще! Вечера в Гринвич-Виллидже? Да кто они такие, завсегдатаи этих вечеров? Сборище бездельников, бесплодные мечтатели и искатели приключений. Ему там нечего делать. Серьезная работа! Истинный успех – вот что ему нужно! Счастливый брак с такой женщиной, как Оливия, круг друзей, которые превращают твой дом в блестящий салон! Джетро прямо на глазах становился другим человеком; под благотворным влиянием Оливии он обрел душевный покой и уверенность в себе, он уже забыл, что совсем недавно сам был бесплодным мечтателем и бездельником из Гринвич-Виллиджа.

А дни текли своим чередом, принося радости, принося печали. Время не остановишь, и случайность нельзя предусмотреть. Год, два, три счастливой жизни среди веселых и интересных людей, окружавших молодую чету! И вдруг – безжалостный удар судьбы. Однажды утром я позвонил Джетро по телефону; мне нужно было навести у него какую-то справку, и, между прочим, он сказал, что Оливия не совсем здорова... Легкая простуда, пустяки... Всего доброго. Но на следующий день к вечеру он сам позвонил мне: ей не лучше, даже, пожалуй, хуже, и это его беспокоит. Болит горло, небольшой жар. Ждут доктора. Позже, вечером, я позвонил к ним и узнал, что он отправляет ее в больницу Св. Луки. Если я захочу навестить ее, она будет в такой-то палате, он назвал номер.

Я поспешил в больницу. К моему облегчению, я застал Оливию в хорошем состоянии и веселой. Благодаря заботам Джетро ее устроили с удобством в одной из тех скромных отдельных комнат, за которые приходится так дорого платить. Все же у нее была повышенная температура, и в коридоре Джетро сказал мне, что доктор опасается воспаления легких. Я упрекнул его за то, что он слишком легко поддается панике, и вернулся к Оливии. Она говорила о своем скором выздоровлении, о том, что они с Джетро надумали построить дачу в Джерси на берегу моря, в бухточке с высоким берегом, газон можно будет подвести к самой воде. Окна спален и столовой смотрят в море, из них можно будет любоваться восходом солнца. Они построят маленькую пристань и заведут моторную лодку. И все это в двух часах езды от Нью-Йорка. Будущей весной и летом я смогу приезжать к ним туда в гости.

Когда я пришел к ней на другое утро, она чувствовала себя гораздо хуже. Жар усилился, ночью она бредила. Вызвали специалиста. Джетро был в неопишуемой тревоге. Он был бледен как полотно, хотя старался держать себя в руках. На следующий день Оливия была в сознании, но очень ослабела. Я принес ей цветы. Мы поговорили о том о сем; на этот раз Джетро не было с нами, и впервые за время болезни Оливия казалась подавленной. Когда я пожурил ее за плохое настроение, она сказала:

– Я не о себе думаю, мне жаль Джетро. Ему было хорошо со мной.

«И даже очень», – подумал я, но вслух сказал:

– Я понимаю, Оливия.

– Я знаю, вы всегда все понимали. Вы помните стихи, которые я вам послала?

– Чудесные стихи. Прекрасные, и не я тому причиной, а вы сами. Они всегда со мной.

– Я хотела, чтоб вы знали. Но потом я поняла, что это было мое прощание с вами. Вы ведь не могли полюбить меня, нет?

– Нет, Оливия, – отвечал я, – *так* не мог. Вы сами знаете: человек не властен над своими чувствами. Но не думайте, что я не видел вашей красоты и ума, что я не считал вашу жизнь удивительной... Я и теперь так считаю...

Она взяла мои руки в свои.

– Я понимаю, – сказала она, – все понимаю. Ну, я и подумала тогда, может быть, я смогу что-нибудь сделать для Джетро. Он так нуждался во мне.

– Вы сделали для него все, – сказал я, – я уверен в этом.

– Потому-то мне и не хотелось бы уходить, – ответила она.

На другой день она была без сознания. Через день – то же самое. Больше мы с ней уже не разговаривали. Потом в один из ближайших дней, в пять часов утра, позвонил Джетро: час назад она умерла.

Дальше, как обычно, похоронная церемония – бессмысленно пышная и угнетающая. Затем мучительная для Джетро поездка в Солт-Лейк-Сити, – родители хотели, чтобы Оливия была погребена там, и Джетро согласился выполнить их желание. Впоследствии, когда его отчаяние несколько улеглось, он рассказал мне об этой поездке, о родителях Оливии, о том, что было истинного и что показного в их отношении к смерти дочери и к ее последнему возвращению домой. Нужно помнить, что они никогда не одобряли ни развода Оливии, ни ее нового замужества, ни всего, что им было известно о ее жизни. Но теперь, когда она умерла, они горевали искренне и глубоко. Джетро говорил, что на них жалко было смотреть, – они уже старики, а с дочерью связаны были лучшие годы их жизни. Но едва Оливию похоронили, как ее родители принялись знакомить Джетро с представителями местного общества. Визиты, встречи, разговоры – это было ужасно, по словам Джетро. Почтенному профессору хотелось показать всем знакомым, что дочь его была не такая уж беспутная, как про то ходили слухи. Вот вам Джетро, ее супруг, человек во всех отношениях респектабельный. Ему пришлось выслушивать соболезнования по поводу смерти Оливии и запоздалые комплименты ее художественным вкусам.

– Два дня я терпел, – сказал он. – Потом почувствовал, что это выше моих сил, и сел на утренний поезд, идущий в Нью-Йорк. Могила Оливии, – продолжал он, – находится высоко над городом, на склоне гор, оттуда виден старый пруд, где она когда-то каталась на коньках, и школа, в которой она училась. Ей, наверно, понравилось бы это место.

Но как ее смерть подействовала на Джетро! Я могу лишь бегло коснуться того мрачного периода в его жизни, когда, раздавленный горем, он понял, что Оливии больше нет; что никогда уже не будет у него того счастья, которое помогало ему стойко выносить превратности судьбы и роковой ход времени. Им было так хорошо вместе. Я думаю, они в самом деле были счастливы, насколько может быть счастлив человек в этом бурном, тревожном мире. И вот – конец. Он остался один в их большом доме. Ее книги, ее пианино, ее рукописи... Я часто приходил посидеть с ним, пытался, сколько возможно, подбодрить его, но видно было, что ему слишком

тяжело в этой обстановке. Он, правда, говорил о том, что выпишет к себе мать и сестру, может быть, переедет в другое место, возьмет себя в руки и снова будет работать... И мать с сестрой действительно приехали, и на другое место он перебрался, а работа над пьесой и рассказами у него все равно не ладилась, – он не умел один продолжать то, что они с таким успехом начали вместе. Нужно отдать ему справедливость, он пытался. После того как немного утихла горечь утраты, он засел за работу и целый год писал, писал, писал. И читал он в то время так много, как никогда раньше. И все-таки у него ничего не выходило. Всякий, кто с ним встречался, ясно видел и чувствовал это. Не было рядом с ним человека, с кем он мог бы посоветоваться, кто разделит бы с ним сложный для него литературный труд. До меня стали доходить слухи, что его снова видят в среде богемы, что он начал пить и ведет рассеянный образ жизни. Это было правдой только наполовину. Он еще пытался работать, но с перерывами. Затем он случайно встретился с одним ученым, который занимался исследованием функции эндокринных желез и их влияния на человеческую личность и общественную мораль, но сам плохо владел пером. Они начали работать вместе, и вскоре Джетро стал не только популяризатором этой научной теории, но и литературным ее истолкователем. Как он однажды признался мне, он не совсем ясно представлял себе, какой научный вес имеют эти теории и к чему все это приведет, но ему было интересно, и он рассчитывал в дальнейшем использовать этот материал для пьес и рассказов.

Но я стал замечать, что он все больше теряет вкус к жизни. Она представлялась ему теперь загадкой, которую не только нельзя разгадать, но и не стоит разгадывать. Как все переходящее в этом мире! Бренность, животная грубость и балаганная неосмысленность, тяготеющие с начала и до конца над жизнью человека – этого представителя *homo sapiens*, его пустое тщеславие, призрачные иллюзии, обманчивые надежды! Его жалкие усилия сделать что-то из ничего! Немного больше или немного меньше какого-нибудь гормона в крови – и Линкольн превратился бы в ленивого обывателя или деревенского дурачка! Боже, для чего же, в конце концов, живут люди! Во всеуслышание они говорят пышные слова, но что они проделывают, когда их никто не видит! Добродетель, приличия, мораль, благотворительность, честолюбие, родительские чувства – какая все это ложь! Дикая, бессмысленная пляска безумцев в сумасшедшем доме!

Понятно, к чему привели эти настроения, – к пьянству, кутежам с кем угодно и где угодно. Его мать, набожная христианка, пыталась даже врачевать и проверять на нем силу «слова Божьего»; сестра, встревоженная и огорченная, уговаривала его чаще бывать дома, беречь себя, больше работать. Но их усилия так ни к чему и не привели. Джетро опять стал такой, каким был, когда впервые встретил Оливию, – только постаревший на десять лет, уже без прежних надежд и без прежней сдержанности. А ему было всего сорок два года!

Примерно в это время он как-то зашел ко мне. Мы говорили о том о сем – о его работе, о его будущем. И конечно, об эндокринных железах и их социальном значении. Его книга на эту тему должна скоро появиться. Между прочим, он неважно себя чувствует. Какой-то загиб в пищевом тракте – бог его знает, что это такое, – и печень слегка увеличена, так, по крайней мере, показывает рентген. Вид у него, правда, был нездоровый. По его словам, он бросил пить и не работает по ночам. Доктор велел. Потом он снова начал ругать жизнь, ее пустоту и бессмысленность.

– Знаете что, Джек, – сказал я, – вам бы найти девушку, которая бы вас понимала и могла работать с вами. Все бы у вас наладилось, если бы...

– Если бы мне встретить такую, как Оливия. Но мне ее не встретить. Другой такой нет.

Он поднялся, собираясь уходить. Лицо его так ясно выражало то, что происходило в его душе, – скорбь и безнадежность. Мне стало жаль его.

Весной я написал ему, что собираюсь в большую пешеходную экскурсию, километров так на пятьсот. Я предложил ему отправиться со мной, хотя бы на несколько дней. Он ответил

письмом, в котором с восторгом и вместе с какой-то неуверенностью говорил о моем предложении; он, видимо, сознавал, что ему следует это сделать, но чувствовал, что не сможет. Он очень хотел бы, но... Осенью я пригласил его к себе на дачу и после десятидневного молчания получил письмо от его сестры. Она писала, что он уже две недели болен и последние десять дней лежит без сознания. Он еще успел, пока был в памяти, прочитать мое письмо и сказал, что непременно ответит, как только встанет на ноги. Но это были последние его сознательные минуты; с тех пор лихорадка, учащенный пульс, температура сорок. И все время бред – об Оливии, о том, как они встретились, как жили после свадьбы. Я приехал в больницу и застал там одного нашего общего знакомого, который как раз перед болезнью Джетро гостил у него на даче. Он рассказал мне, что Джетро в то время опять начал пить, хотя и обещал больше не прикасаться к рюмке. Затем легкая простуда, жар и почти сразу же – бессознательное состояние.

– Удивительное дело, – рассказывал он, – как только Джетро потерял сознание, он сразу же начал бредить о своей жене, ну, этой, знаете, Оливии Бранд.

– Знаю, – сказал я.

– Он только о ней и говорил.

– Вот как.

Я поднялся наверх; Джетро лежал на больничной койке, окруженный докторами – их было трое – и сиделками; он что-то бессвязно бормотал, как это бывает с больными в жару. Он то провозглашал тост за чье-то здоровье: «Всем наливо? Поднимайте бокалы!» То усаживал какую-то компанию в автомобиль: «Все в сборе?» То вдруг порывался встать и идти домой, – он должен идти домой, скорее домой, Оливия сказала... Потом он звал сестру или мать. Я взял его за руку, пристально посмотрел ему в глаза:

– Джек, вы слышите меня? Вы меня узнали? Ведь вы же знаете меня?

– Конечно знаю, – ответил он. Глаза его на минуту прояснились. – Вы... – И он назвал мое имя. Это было прощание.

Еще через две недели он был жив, но так и не пришел в себя. Все такой же жар, все тот же бред об Оливии.

– Как странно, – сказала мне его сестра. – Болезнь у него началась точь-в-точь как у Оливии. Сначала легкая ангина, потом сразу лихорадка. Оливия умерла на шестые сутки; мы думали, что и он дольше не протянет. В тот день силы совершенно покинули его. И он без конца бредил о ней. Не понимаю, как он выжил.

На двадцать девятый день болезни он умер. Садясь в такси, чтобы ехать к нему домой, я сказал шоферу:

– Поезжайте мимо парка, через Сто десятую улицу, потом вверх по Бродвею.

Но он почему-то свернул у Морнингсайд Хайтс и проехал как раз под окнами больницы, где умерла Оливия. Я этого не заметил, пока случайно не взглянул вверх... Прямо передо мною было окно ее палаты. И тогда я подумал: «Оливия, Оливия, неужели это ты позвала его к себе? Ты так жалела его?..»

## Эллен Адамс Ринн

Впервые я узнал о ней, когда редактировал один из нескольких журналов, с которыми время от времени сотрудничал. Передо мной было повествование, чувственное и экзотическое одновременно, которое требовало иллюстрирования. Речь шла о некоем приключении в сочетании с любовной историей, развернувшимся в Египте, и мне сказали, что эта художница, скорее всего, создаст вполне достойные иллюстрации. Хотя ее имя не было широко известно, говорили, что она профессионал своего дела, причем редкий. Она занималась иллюстрацией, чтобы заработать денег для воплощения своих более значимых художественных идей. В тот момент у меня не было главного художника, и я сам ей написал, пригласив зайти. Она зашла. Изложенная мною канва рассказа нашла отклик в ее душе – она сказала, что попробует, и согласилась сделать иллюстрации за оговоренную сумму.

Меня тогда очень заинтересовала личность этой девушки. Она была молода, привлекательна, жизнерадостна и амбициозна, скорее блондинка, чем брюнетка, хотя волосы у нее все же были не совсем светлые – пожалуй, светло-каштановые. Она улыбалась задорно и весело, пока мы беседовали о том о сем, и я выяснил, что она из Филадельфии, а живописи училась в тамошней школе дизайна. И еще что на какой-то проходившей тогда выставке традиционного искусства ее картина висит «на уровне глаз». Если мне вдруг захочется, она в любое время может пригласить меня ее посмотреть. А также если я загляну к ней в мастерскую, она всегда с радостью покажет мне и другие свои работы. Прежде чем она ушла, мы успели подружиться, и я решил, что как-нибудь к ней загляну. Мне она понравилась, хотя по первому впечатлению казалась всего лишь хорошенькой девушкой, одной из многих, интересовавшейся искусством и богемной жизнью тех, кто пробивал себе дорогу в художественном мире, и я подумал, что ее энтузиазм не выстоит под бременем бесконечных тягот и невзгод, выпадающих на долю художников, взваливающих на себя неблагодарный труд иллюстрирования, да и вообще живописи. Но я ошибался.

Позже я оказался на той выставке и разыскал ее картину, которая представляла собой довольно мило задуманную и композиционно выверенную сцену в будуаре, пусть и решенную в традиционной манере. То есть в ней не обнаруживалось ничего нового с точки зрения сюжета или его трактовки. Тем не менее цвета и композиция были приятны – чувственная девушка лет восемнадцати с округлыми формами, в чем-то похожая на автора, сидит перед трюмо и наносит на лицо «последние штрихи». Можно было бы сказать, что сама художница очарована нежным цветом и соблазнительной позой девушки, так эффектно были очерчены ее руки, тело, бедра – с теплотой, но вполне традиционно – с консерватизмом, если не искусностью 1890-х годов и более раннего времени. Признаюсь, у меня возникло чувство чего-то экзотического, физически волнующего, но в то же время подавляемого как в картине, так и в ее авторе. «Надо же!» – подумал я, решив снова повстречаться с художницей и, если получится, укрепить нашу начавшуюся дружбу.

Но прежде я повстречал еще одного выходца из Филадельфии – молодого иллюстратора, который позднее достиг если не постоянного, то устойчивого признания в мире искусства. Когда речь зашла о мисс Адамс и ее работах, он воскликнул: «О, Эллен! Конечно, я ее знаю. Мы учились в одном классе. Как она поживает? Толковая – это точно! К тому же, скажу я вам, тверда и мужественна!» По поводу последнего замечания я попросил объяснить, что он имеет в виду, и он ответил: «Ну, ей тяжело пришлось. Отец – всего лишь кондуктор конки, и он не хотел, чтобы она занималась всякой ерундой вроде живописи. Не знаю, что с ним стало. Он хотел, чтобы она работала в лавке. – Молодой человек рассмеялся. – И она сбежала. А один из ее братьев – ну, вы понимаете, семья есть семья – впутался там в какую-то историю, связанную с ограблением коночного парка. Про все это тогда писали в газетах, иначе я бы вам не

рассказывал. Но это не выбило Эллиен из колеи. Я, знаете ли, познакомился с ней уже потом, в школе. Поначалу она делала рисунки для газет, а теперь я вижу ее работы в журналах. Толковая она, этого не отнять. Если увидите, передайте от меня привет». И иллюстратор ушел, очень довольный, нарядный и уверенный в себе благодаря недавнему и, как ему казалось, долговечному успеху.

Его рассказ, естественно, закрепил в моем сознании образ Эллиен Адамс, придав ему, по крайней мере для меня, некоторое очарование или романтичность. Ибо сколько ее современниц, имеющих столь же серьезные семейные затруднения, стали бы вести победоносную борьбу в искусстве, да еще так бойко и весело, как она? Вполне возможно, ее действительно ждало достойное будущее. Кроме того, при всем ее раннем и трудном жизненном опыте, она и правда была чрезвычайно привлекательна, напоминая и лицом, и фигурой, но не манерой, как мне тогда казалось, ту девушку перед зеркалом, которую она изобразила. «В самом деле, – думал я, – не является ли это отражением ее мечты? Может, именно такой она хотела бы себя видеть? Богатой, довольной, спокойной и умиротворенной».

Однажды после этого случая, испытывая некоторые чувства к Эллиен (хотя, как я со временем выяснил, у нее были иные чувства ко мне), я явился к ней в мастерскую в апартаментах «Ван Дейк» на Восьмой авеню. Стоял чудный теплый июньский или июльский день. Свой визит я объяснил желанием посмотреть, как продвигается работа над иллюстрациями, если она вообще начата. К некоторому моему удивлению, я обнаружил, что мисс Адамс что-то варит или печет за яркими занавесками в углу, – как оказалось, в маленькой кухоньке. Сама она была в легком платье с оборками, частично прикрытом пестрым передничком. «Ага, – подумал я, – здесь ожидают гостя. Наверное, мужчину, черт бы его побрал! Значит, для меня либо уже слишком поздно, либо слишком рано. Лучше всего притвориться, что мой приход носит чисто деловой характер, и вести себя соответственно».

Однако я был приятно удивлен, когда выяснилось, что это не совсем так. Торт – а она пекла торт – предназначался для собравшихся гостей в студии дальше по коридору. Веселым журчащим голоском она сказала, что печет торт для своей подружки. Я отметил про себя округлость ее шеи и подбородка и мелкие капельки пота на лбу.

– Мне не трудно готовить, – объяснила она. – Даже нравится. Но не в такой день, как сегодня. Я уже закончила, придется только около получаса последить за духовкой. Пожалуйста, садитесь. А я пока смою с рук муку.

И она исчезла за занавесками.

Меня влекли молодость, романтика и именно такой тип женской красоты, я был особенно заворожен легкой грацией и ярким цветом художественного мира, в котором она обитала. Только представить себе, что в Нью-Йорке есть такие беззаботные, красочные места! Да еще с такими девушками, как Эллиен, о которых можно только мечтать, – художницами, играючи проживающими жизнь. Как мне хотелось стать частью этой жизни, однако ведь я делал вид, что пришел по делу, и только по делу.

Вскоре она вернулась и показала мне один из трех заказанных ей набросков. И он был, по моему, очень хорош. Потом, поскольку она была не против поболтать, мы говорили и говорили, и она показала мне другие свои работы. Ее соседка – худенькая, лукавая шалунья и ломака, – войдя, присоединилась к разговору. Я почувствовал намек на полигамные отношения, языческую, веселую жизнь, частью которой были Эллиен, эта мисс Гейнс и, очевидно, кое-кто еще. Но, будучи слишком стеснительным – или, по крайней мере, недостаточно легкомысленным, – чтобы принять участие в таком действе, я вскоре получил разрешение откланяться, хотя мне очень, очень хотелось остаться.

То одно, то другое мешало нам с Эллиен встретиться, и я не слышал о ней несколько лет. Но за это время узнал, что она вышла замуж за молодого брокера, с которым познакомилась здесь, в Нью-Йорке, что они живут в достатке и даже в роскоши в дорогих апартаментах в

Грамерси-Парк. Некоторое время спустя воскресным днем я наткнулся на них в этом районе, когда они вышли на прогулку. Рядом с Эллен шел ладный, высокий, красивый, одетый с иголочки, сдержанный в манерах молодой муж – как раз такой, за которого, как я теперь понял, Эллен и должна была выйти – скажем, вместо меня, – не глупый редактор, витающий в облаках, а человек дела и в то же время имеющий положение, спокойно соблюдающий принятые условности и традиции своей профессии и общества – короче говоря, весьма аккуратный в своем поведении, финансах и положении. Муж вел на поводке собачку. Оба супруга выглядели очень счастливыми – во всяком случае, мне так показалось, – очевидно, им было хорошо в начале своей яркой и приятной совместной жизни, они были довольны собой и окружающим миром. Мы завели светскую беседу, и я узнал, что у них есть ребенок, девочка. И еще что Эллен – ни в коем случае! – не перестала заниматься иллюстрацией. Наоборот, даже стала работать больше, чем планировала, когда мы виделись в последний раз. Кроме того, она продолжала писать картины, но уже не так много. Вероятно, подумал я, у нее возникли сомнения, нашла ли она себя. Может, за нее все решило замужество. У меня осталось чувство, что, за исключением некоторого физического обаяния, человек по фамилии Ринн не мог много для нее значить. Что-то в ней говорило, что она вышла за него, возможно не вполне отдавая себе в этом отчет, по немногим вполне определенным причинам. Он был молод, хорош собой, жизнерадостен и полон иллюзий. Она получила от него то преклонение – преклонение перед ее женственностью, – которое, наверное, ей тогда было нужно. Как и положение в обществе, которого она раньше не имела. Тем не менее, думалось мне, их брак станет не более чем интерлюдией, а если предположить большее, то очень опасной авантюрой. Я это чувствовал.

Пролетели еще четыре года, прежде чем я снова увидел Эллен. В этот промежуток, как я узнал от других, произошли некоторые интересные перемены. Во-первых, она развелась с мужем, или, точнее, из-за полного несходства характеров они договорились жить отдельно, и муж, а вернее, его мать забрала к себе девочку, потому что, судя по всему, Эллен хотела свободы, чтобы снова заняться живописью. Далее она заинтересовалась молодым художником, которого я знал еще до того, как познакомился с ней, – очень серьезным, неторопливым и упорным человеком, любившим размышлять о красоте, в основном в пейзажах, и пытавшимся интерпретировать их в силу своих возможностей. Честно говоря, узнав об этом, я засомневался, потому что с точки зрения социальной или, скажем, дипломатической – поскольку «блеск» в обществе обычно относится к категории дипломатической – Джимми Рейс явно уступал своему предшественнику. Хотя его происхождение было лучше, чем у отвергнутого мужа, он, казалось, стоял в стороне от всего, что имело привкус светского шика или развлечений. Мне представлялось, что он не больше, чем Ринн, годится ей в спутники. Слишком слабый, слишком нежный, слишком неторопливый. Она же теперь была если не в прямом смысле непоколебимой, то уж, во всяком случае, энергичной и активной. В искусстве Рейс пока не преуспел, всего лишь карабкался по каменистой тропе к Парнасу, надеясь обрести там свою корону. И все же совершенно точно Эллен, как и многие другие, в него верила. Да и сам я чувствовал, что, если его популярность продолжит расти в том же духе, он, несомненно, получит известность. Его мастерская на Четырнадцатой улице была местом скромным и бесцветным, да и сам он отказывался от всего, кроме самой простой одежды и пищи. Помимо занятий живописью, он изучал философию и много читал стихов, о которых любил поговорить. Временами впадал в ужасное уныние и в таких случаях много пил – это пристрастие, как я понял позже, в значительной мере поддерживалось боязнью или убеждением, что ему не суждено гениально интерпретировать свои настроения через изображения природы.

Поэтому, как я сказал, хотя меня и удивила связь Эллен с таким человеком, я сразу же решил, что она вернулась в ту сферу, ради которой в ранней юности пошла на столь серьезные жертвы. Как я понял из тогдашнего разговора с ней, так все и было на самом деле. Мы встретились на одной вечеринке, и в неожиданном порыве искренности, вызванном изрядным

количеством выпитого, она поведала мне о своем бывшем муже и о своей жизни после нашей последней встречи. Надо сказать (я более или менее точно пересказываю здесь ее слова), она не могла объяснить, почему вышла замуж за Уолтера Ринна. Отчасти, как она говорила, причиной было ее одиночество и некоторая традиционность. В те годы, когда мы с ней познакомились, она не могла безоглядно упиваться легкомысленным миром богемы, в котором оказалась, как не смогла и избавиться от глупейшего, по ее словам, представления, что брак – необходимая и неизбежная участь любой американской девушки. И это в определенном смысле привело ее к замужеству. В то же время ей хотелось получить радости сексуальной жизни, а также уважение, материальное благополучие и более высокое положение, которые для некоторых открываются в замужестве. Что касается Ринна, то, кроме того, что поначалу Эллен действительно была им сильно увлечена, она решила, что должна иметь все вышеперечисленное, и некоторое время так оно и было. Потом, года через два или три, она пришла к выводу, что почти все эти вещи – подлая иллюзия или ошибка и что гораздо лучше, по крайней мере с точки зрения творчества, продолжать заниматься живописью или иллюстрацией и *ad interim*<sup>6</sup> посвятить себя – по ее мнению, это было необходимо – какому-нибудь мужчине, хотя бы одному, к которому ее бы влекло. В самом крайнем случае ей пришлось бы ждать такого же характера, как у Рейса, вызывавшего у нее, по моим наблюдениям, готовность восторгаться, хотя она увидела его впервые всего полгода назад. Ведь Ринн, каким бы идеальным он ни был, оказался для нее не более чем красивым и обаятельным отвлечением от того, что ее действительно привлекало, тогда как Джимми Рейс, очень ей нравившийся – но не более того, – был человеком, с которым она могла обмениваться самыми сложными мыслями об искусстве, а что еще лучше – он мог что-то ей дать, а не только брать. К тому же в тот момент не она, а Джимми был одинок, и это создавало дополнительную притягательность. Помимо всего прочего, именно Эллен жаждала духовной глубины или искренности, с которой Рейс, по крайней мере в отличие от многих, подходил к искусству. И это ее восхищало.

Однако в ту пору, как я выяснил, она не пыталась называть себя художницей или утверждать, что таково ее предназначение. Тем не менее, начав столь неудачно, она все-таки очень хотела сделать вторую попытку. По крайней мере, теперь ей не надо тратить время на супружескую жизнь, с трудом исполняя свой долг жены и матери и сверх того предаваясь светским развлечениям, когда у нее нет никакого *запала* ни для первого, ни для второго, и она просто делает себя и мужа несчастными. Потому что она и Ринн давно несчастны, настаивала она теперь, и, если бы не развод, такими бы и оставались, поскольку он верит как в незыблемость брака, так и в его исключительную ценность для каждой женщины, ибо он обеспечивает ей возможность беззаботной жизни и материнства. Только она в это не верит. Хуже всего то, что они постоянно спорили и по этому поводу, и по поводу ее долга перед ребенком. Но, слава богу, все это в прошлом, и следующие несколько лет покажут, суждено ей создать что-то значительное в искусстве или нет. Эллен настаивала, что она, безусловно, имеет непреодолимое, всепоглощающее желание заниматься живописью. Только, в отличие от некоторых, она, по ее словам, не станет сама себя обманывать. Она и, весьма вероятно, Джимми Рейс вскоре уезжают в Париж. Там как друзья и соседи, не более, они будут учиться рисовать в избранной для себя манере. Ну а потом – время покажет. Либо она будет выполнять свою работу, в ее понимании, в высшей степени удовлетворительно, независимо от мнения публики, либо оставит искусство и займется бизнесом, семьей или еще чем-нибудь, лишь бы не быть бесполезным деятелем в сфере, и без того, с ее точки зрения, переполненной бесполезными деятелями. Наш разговор произвел на меня большое впечатление (хотя, по моим воспоминаниям, она в тот вечер выпила лишнего), я хорошо его запомнил и, как видите, помню до сих пор.

---

<sup>6</sup> Тем временем (*лат.*).

Но тогда мне пришла еще одна мысль: Джимми Рейс, с учетом всей его возвышенной духовности и художественной искренности, не имел для нее большого значения и долго бы не продержался, поскольку ей нужны были не возвышенная духовность и не художественная искренность, а их сочетание с практической силой, которую она могла бы по-настоящему уважать, но которая у Джимми как раз отсутствовала. Слишком он был слабый, задумчивый, неуверенный. На самом деле это она отдавала ему свою силу, а не он ей. А Эллен надо было только обрести вновь в себе человека искусства. В точности как и Ринн, Рейс всего лишь являл собой противоположность тому, что в данный момент вызывало в ее душе неприятие.

Но произошла еще одна перемена. Примерно в первый или второй год общения с Рейсом они вместе отправились в Париж. Как я сообразил потом, это случилось как раз в то время, когда там возникло новое бунтарское направление в искусстве, слухи о котором уже тогда (в 1907 году и ранее) докатились до наших берегов, – споры, вызванные существованием в Париже неких соперничающих, но в чем-то близких между собой групп – постимпрессионистов, неомпрессионистов, кубистов, футуристов и прочих, – чьи взгляды и художественный анархизм в целом, казалось, почти наверняка поставят крест на всем серьезном и почтенном традиционном искусстве. Неужели художественный мир Европы и в самом деле сошел с ума? Этот вопрос задавали в своих статьях и телеграммах освещавшие художественную жизнь корреспонденты. На волне этих споров Эллен и Рейс и поехали за границу в 1907 году. Как я узнал потом, они обосновались в Париже каждый в своей студии.

Хотя здесь я бы хотел сделать отступление о той кардинальной перемене в искусстве и о ее значении, мне следует все же сказать, что до 1912 года я с Эллен не виделся, и за это время изменения в моей собственной жизни привели меня, свободного путешественника, в Лондон и Париж. Но еще раньше, осенью 1910 года, прохаживаясь по одному из крупных универсальных магазинов Филадельфии, я обратил внимание на четыре огромные панели, тематически связанные и последовательно размещенные над четырьмя просветами или проходами, ведущими из одной половины здания в другую. Они были чрезвычайно декоративны и, на мой неопытный взгляд, выполнены в новой, впечатляющей манере. Кем-то было сказано, что вы, возможно, никогда раньше не видели мужчину, женщину или пейзаж такими, какими их изображает Сезанн на своих полотнах, но, увидев картины Сезанна, вы никогда их не забудете, потому что потом вновь встретитесь с ними в жизни. Не то чтобы я жаждал подтвердить эту мысль, но, безусловно, здесь, в магазине, и потом (спустя год, чтобы быть точным), в лондонской галерее «Графтон», а также в парижских студиях (включая, между прочим, студию Эллен Адамс Ринн), я видел много вещей, близких по духу этим панелям. Следует пояснить: они изображали сцены из парижской жизни. На одной была представлена интересная группа на ипподроме в самых разнообразных и удивительно цветастых нарядах: люди, ждущие у ограды перед трибуной, когда начнется забег. На второй – ранний обед или поздний чай на свежем воздухе во время «зеленого часа», как говорят парижане, перед одним из стильных сельских ресторанов Парижа, с теми же людьми, что и на первой панели, возможно зашедшими перекусить по дороге домой. Третья представляла собой уличную сутолоку или сцену в Булонском парке – извозчики, двухколесные экипажи, то здесь, то там мелькающие в клубах пыли, а рядом на тротуаре буквально нагромождение лиц, одежд, локтей, ног, шляп, и все это двигалось, двигалось, как во сне. На последней панели я увидел множество танцующих в Баль-Булье – они действительно двигались, действительно танцевали, и их шляпы, лица, платья, оголенные руки, ноги напоминали мутьчу или мешанину жизни. Под каждой панелью стояла подпись: «Эллен Адамс Ринн».

– Послушайте! – почти воскликнул я. – Как вы к этому пришли? Какие цвета! Какие кричащие, немислимые контрасты!

Я был и в самом деле потрясен, ибо это совершенно не походило на все то, что я до сих пор видел за ее подписью, сделанное и выставленное ею в Америке или в других странах,

а потому казалось мне в высшей степени живительным и даже завораживающим. Так, значит, вот к чему были все эти разговоры о новом французском искусстве, которое они с Рейсом отправились изучать в Париж. Но какое преображение для Эллен Адамс и уж тем более для Джимми Рейса, если предположить, что он все-таки преобразился. (Как показало время, этого не случилось.) Но черт возьми! Свет, пространство, дерзость, сила, первоначально чистые цвета – красный, зеленый, голубой, сиреневый, белый, желтый! Бог мой! Здесь нет никакого приятного глазу смешивания красок! Никакого привычного и столь традиционного плавного перехода тонов: нет богатого грунта подмалевки. Наоборот, все сияющее, непосредственное, звонкое – изображение столь буквальное, что кому-то может показаться бессмысленным. Но в моем восприятии абсолютно захватывающее, в самом деле порождающее ощущение жизни и красоты, которое само по себе есть составная часть чувства значительности и честности. И все было подписано твердой рукой в нижнем правом углу: Эллен Адамс Ринн. Сначала это до меня никак не доходило. Какого черта? Я не мог и помыслить, что она такая – столько силы и огня! Замечательно. Но когда, скажите на милость, она начала так писать? Какое поразительное развитие! Признаюсь, работы Эллен были настолько волнующие и будоражащие, что мне тут же захотелось повстречать ее снова или увидеть Париж и все это.

И тогда, как я уже говорил, на следующий год (1912) я поехал в Англию и Францию, и наши дороги действительно пересеклись в Париже. Но еще раньше в Лондоне – в галерее «Графтон», если я правильно помню, – я посетил первую выставку так называемых постимпрессионистов, которая в то время воспринималась лондонской публикой как скандальная, отвратительная или потешная. Сезанн, Гоген, Ван Гог, Матисс, Пикассо и многие другие, чьи имена сейчас уж не припомнить, были представлены одной или несколькими картинами. Помню, как в полном изумлении я остановился перед картиной, кажется, Ван Гога «Христос на обочине». «Издранный, окровавленный крестьянин, подвешенный на шест», как охарактеризовал ее один из посетителей. И именно так я поначалу ее и воспринял, только в положительном смысле, поскольку образ вполне соответствовал моему представлению о том, как должен выглядеть распятый Сын Человеческий, – совсем не так, как те тела, анемичные и приукрашенные для восславления, которыми католические священники различных рангов облепили весь мир. Короче говоря, истязание, выраженное на холсте в соединении дерева, головы, рук, торса, ног, ступней. Лицо, какое можно увидеть у истязаемого – простого труженика или каторжника. Рот, щеки, подбородок – все ужасным образом свернуто на сторону от боли. Однако в этом изображении жила личность, мощная, ужасная или отвратительная, как вам больше нравится, но личность. И вся работа была выполнена чередованием ярких цветов. Я долго не отходил, привлеченный ее художественной беспощадностью и мощью.

Но это не все. К примеру, там была старая мырма с телом, как сталь или серый литейный чугун, под названием «Портрет мисс N». Обнаженная женщина, лежащая на кушетке, похожей на груды грязных оловянных сковородок, странным образом связанных и бьющихся друг о друга. Еще скульптурное изображение головы под названием «Цыган», похожее на чудище из музея восковых фигур. Я почти не верил своим глазам. А толпы шокированных посетителей глазели с любопытством и наперебой комментировали, причем многие гоготали, точно деревенские парни, попавшие в балаган или увидевшие голого человека.

А комментарии!

«О, кое-что, да, кое-что есть у Сезанна и Гогена. И я готов принять работу с поверхностью Ван Гога. Пикассо в определенной степени владеет живописью. Но что касается рисунка, гармонии! Ребенок нарисует не хуже. Полагаю, они иногда гордятся тем, что научились смотреть с точки зрения ребенка».

Или: «Картина, даже способная привлечь внимание, может оказаться чудовищным, варварским актом. Крик осла – не пение».

Или: «Они уверяют, что перекладывают дело смешения цветов при восприятии их зрением на общую атмосферу картины. Но органическое смешение, достигаемое зрением, им недоступно. Они не умеют рисовать и не могут добиться гармонии. Это легкий способ получить скандальную известность для людей, не владеющих живописью».

Готов допустить, что в какой-то момент я сам был в замешательстве и склонялся к тому, чтобы согласиться с некоторыми услышанными репликами. Ибо, как я понял позже, я все еще не мог отказаться от традиционных портретов и жанровых сцен старых школ – сглаженных, мягких, прилизанных вещей, которые заполняют наши галереи и давно стали нашим искусством. Потом, когда первый шок прошел, у меня не выходили из головы сюжеты и техника, особенно техника. И через какое-то время я спросил себя: что это за работы? Не следуют ли они, в конце концов, за тем, что я вижу повсеместно в реальной жизни? Ведь не все на свете такое, как изображает Энгр или, скажем, Вермеер. Со всех сторон мы получаем странные, трудные, мрачные и даже омерзительные впечатления. Как быть с ними? И что лично я пытаюсь делать? Прилизанная графиня с белой книгой на коленях в длинном зеленом платье? Дама, погруженная в созерцание персидской вазы с орхидеями? Ничего подобного! И постепенно я начал понимать, что, каким бы агрессивным ни было это искусство (как война, например), в нем чувствовалось что-то новое, мощное, энергичное. Эти вещи, сказал я, хотя по большей части мрачные и уродливые, предназначены, чтобы вдохнуть жизнь в старые формы. Я признавал, что этот яростный, грубый протест против всего лилово-голубого и всех этих изящных драпировок неизбежно усилит восприятие и влияние искусства повсюду.

Но самой интересной для меня на той выставке была картина Эллен Адамс Ринн. Ее работа очень отличалась от флористических и, я бы даже сказал, тропических эффектов тех панелей, которые я видел в Америке. Это был портрет девушки, возраста, скажем, от двадцати четырех до тридцати, кожа рук, плеч, шеи и лица была очень ярко, хоть и торопливо намечена всего несколькими мазками. Она сидела на обычном кухонном стуле, и видны были только часть колена и небольшие участки обеих рук. В волосах черный бант. Зеленое платье с черной каймой вокруг шеи. Голубовато-зеленый фон пестрел многочисленными, точно драгоценные камушки, пятнышками и штрихами, однако создавалось впечатление, что картина написана за пятнадцать минут. Мне она понравилась. Одна из немногих здоровых, притягательных вещей на выставке, хотя, несомненно, выполненная в новой манере. «Так вот, значит, что Эллен делает в Париже, – подумал я. – Она полностью посвятила себя этому новому направлению».

Но еще интересней оказалось то, что знакомый, с которым мы вместе пришли на выставку, по его словам, тоже был знаком с Эллен Ринн, ее работами и некоторыми обстоятельствами, с ней связанными. Несколькими годами ранее они познакомились в Париже, куда он, жизнелюбивый лондонец, частенько наезжал.

– О да, Эллен! – воскликнул он. – Одна из ваших американских новообращенных. Весьма интересная женщина и очень неплохая художница или была таковой – мне не дано понять все эти новые веяния. Но она и Кир Маккейл – мои лучшие друзья. Могу дать вам рекомендательные письма для них обоих, когда поедете в Париж.

– Но ее я уже знаю, – объяснил я. – А кто такой Маккейл?

– Знаете ее, но не знаете Маккейла? Интересно. Вы давно ее видели?

– Мы встречались в Америке года четыре назад.

– Ах, тогда понятно. Должно быть, она познакомилась с Маккейлом, когда приехала в Париж. То есть я знаю точно, что это так. А я познакомился с ними три года назад. В соседней комнате висит одна из вещей Маккейла, если хотите, посмотрим. Пойдемте.

И он повел меня в путешествие в прошлое.

– Но кто такой этот Маккейл? – не унимался я. – Мне интересно по разным причинам.

– Ах, Маккейл! Шотландский художник, много лет живет в континентальной Европе. Родом из Данди, картавит, как свойственно шотландцам. Сильный, широкоплечий, неповоротливый, с железной волей. Когда-то помогал торговцу скобяным товаром, но потом переключился на искусство. Большую часть жизни провел в Париже. И был одним из первых поборников этого бунта в искусстве, хотя и не лучшим его представителем. Тем не менее потрясающий парень. Немного напоминает шотландского солдата с мускулистыми ногами, однако истинный художник до самых кончиков ногтей. По-моему, он немного устал подыгрывать французам, но вернуться и творить в Шотландии тоже не хочет. А кто бы хотел? Но если вы едете в Париж, то наверняка его там встретите. Вот, смотрите!

Он остановился у холста. Обнаженная женская фигура, между прочим костлявая и непривлекательная, поза изломанная, нога по кривой с большим радиусом поднята над полом; цвета коричневые, черные, серые. Как ни странно, хотя картина и была написана в духе нового течения, она не вызвала у меня такой же интерес, как работа Эллен, в ней не было ни той свободы, ни дерзости, ни легкости. Но живопись была лучше – я имею в виду атмосферу, – свидетельствуя о том, что раз художник творит напряженно и явно без спешки в этом направлении, то он может творить, причем успешно, и в другом. Это чувствовалось. В его работе я отметил для себя нечто мощное и дерзкое. Можно сказать, я находился под впечатлением, но удовольствия не испытывал.

Между тем мой друг продолжал:

– Раз вас интересует Эллен, хорошо бы вам узнать больше и о Маккейле. Мне кажется, он в большей мере художник, чем она, хотя, возможно, никогда этого не признает. Он слишком искренен и слишком необуздан. Представляете, он уже почти забыл о существовании старых работ в этом действительно новом течении, хотя сам писал в такой манере пятнадцать лет! Не может без ругани даже говорить о тех, кто раньше работал в авангарде течения, – о Моне, Мане, Дега, Ренуаре и прочих из той компании. Даже Сезанн, Гоген и Ван Гог для него превратились в старых мастеров по сравнению, например, с Матиссом, Пикассо, Ван Донгеном и некоторыми другими. Он считает Матисса последним словом в искусстве линии, а Пикассо выделяет как колориста. (Он рассмеялся, потому что мы как раз рассматривали два эскиза Пикассо в темных тонах. Я тоже рассмеялся.) Теперь, вслед за Пикассо, он видит мир и человечество в кубах и пирамидах. Но вот что интересно: хотя сам он не особенно успешен в этой области, ему удалось заразить Эллен своими идеями, и у меня сложилось впечатление, что она осознает их лучше, чем он. Она не такая неистовая, пугающая, бескомпромиссная. И гораздо более экзотическая, эмоциональная и чувственная – гораздо! По сравнению с ней он холоден. И получается, что она пишет в новом стиле, используя более легкую манеру, с большим романтизмом и выразительностью. Но не с той искренностью и мастерством, как у него. В ней этого нет. Он пишет (как и большинство тех, кто там нынче устраивает переполох), словно пытается что-то доказать, словно хочет оскорбить любого, кто когда-нибудь писал иначе. Она же работает в новой манере, поскольку это ей подходит и позволяет выразить себя, ведь, мне кажется, она сама во многом такая.

«Замечательно! – подумал я. – Значит, Эллен наконец действительно нашла себя и, надеюсь, добилась или добьется успеха». Я задумался.

– Между прочим, вы когда-нибудь слышали о парижском художнике по имени Джеймс Рейс? – спросил я. – О молодом американце.

Мой приятель покачал головой:

– Никогда.

Но он дал мне адрес Эллен.

– Вы найдете ее на бульваре Рошешуар – очаровательное место. И Маккейл будет где-то рядом. По правде говоря, они живут вместе, но студии у них разные. Хотя расположены

поблизости, на расстоянии не больше квартала. Они... ну, понимаете. Но вы будете рады знакомству с ним, в чем-то он даже интереснее, чем она.

Через месяц или два я отправился в Париж, и, поскольку знакомых американцев там у меня было немного, Эллен была одной из первых, кого я начал разыскивать. И я встретился с ней после подобающей переписки на бульваре Рошешуар на Монмартре. И, как говорил мой приятель, Маккейл действительно оказался рядом. Увидев меня, Эллен, похоже, искренне обрадовалась. У нее была просто замечательная студия, большая, просторная, радостная, с прекрасными картинами и потрясающими тканями, в беспорядке покрывавшими стены, пол и стулья. Она находилась в одном из старых парижских дворишков, где ворота, колокольчик и консьерж способствовали ощущению приватности. Помню, как после объявления моего имени она вышла на верхнюю площадку лестницы и крикнула мне оттуда. Поднимаясь, я глядел на нее. Она еще больше округлилась, стала еще мощнее, но все же оставалась очень привлекательной. Она улыбалась, и меня сразу же поразила веселая беззаботность, которой в Америке я у нее никогда не замечал. «Вот что значит развитие, – подумал я. – Теперь она набралась опыта, стала успешнее, а следовательно, сильнее». И все же прежнее очарование никуда не делось. Скорее ее манеры стали более смелыми, чем в юности. Короче говоря, я заметил совсем немного следов той простушки, с которой познакомился в Нью-Йорке.

Однако не меньше, чем сама Эллен, меня заинтересовала студия, вернее, ее содержимое. Очень милое помещение, с высокими окнами и небольшим балконом, выходящим на широкий чистый бульвар. И внутри, и снаружи царило ощущение старого, веселого, зажиточного Парижа тех лет, что предшествовали Великой войне<sup>7</sup>. В отличие от первой небольшой мастерской в Нью-Йорке, где картины Эллен были скромно поставлены в угол, лицевой стороной к стене, здесь висели очень большие холсты – по крайней мере три из них восемь на пятнадцать.

Я сразу же заговорил о ее панелях в Филадельфии. «Ах да, – очень просто сказала она, – я продала их для рекламы около трех лет назад почти за бесценок. Одни из моих первых парижских работ. Приезжал мистер С. с намерением купить что-нибудь такое, что поразит американцев. Хотелось бы их вернуть. Это не совсем то, что я бы сделала теперь. Я предложила мистеру С. написать ему четыре новые панели, но он и слышать не хочет. Думает, я все переделаю, что, конечно, чистая правда».

Она засмеялась.

Тут мы сразу же перешли к новому течению в искусстве. Глядя на картины на стенах, я понимал, что она привержена не только художественному направлению как таковому, но и его величайшему и разностороннейшему апостолу и пророку Пикассо – тому самому, который оказал такое сильное влияние на Маккейла. Надо сказать, что в тот момент одной из самых заметных картин на стенах студии была, если ее можно так назвать, пирамидальная симфония – изображение синхронно танцующей пары, при котором каждая линия и угол оказывались частью одной или нескольких треугольных плоскостей пирамиды. Увидев, что я рассматриваю эту работу, она заговорила:

– О да, приехав сюда, я очень быстро обратилась к новому направлению. Джимми – помните Джимми Рейса? – так вот, Джимми всех этих художников не вынес и в том же году вернулся назад. Однако, когда мои первоначальные предубеждения испарились, я увидела, насколько это искусство лучше отражает реальность, насколько оно более энергично и жизненно. Конечно, сейчас оно притягивает тысячи шарлатанов, но, полагаю, не больше, чем старая манера в былые времена.

– А кого вы считаете главными представителями этого нового искусства? – спросил я, в то же время задумавшись о Джимми Рейсе и Кире Маккейле. Особенно меня интересовал Маккейл.

---

<sup>7</sup> Имеется в виду Первая мировая война (1914–1918)

– Конечно, это Матисс и Пикассо, только в моем понимании они олицетворяют два различных подхода. Матисс видит декоративность и демонстрирует ее зрителю. Он возвращается к предмету в искусстве и показывает его с особенной выразительностью. Пикассо же преодолел влияние Матисса и пошел по собственному пути. Он почти все видит в форме кубов и пирамид.

Я посмотрел на другую «пирамидальную» картину, висевшую у нее на стене.

– Да, – продолжала она, – я последовательница Пикассо. Теперь я вижу все, как он, это точно. Уже через три месяца жизни здесь я поняла, насколько мелко то, что я делала раньше.

Мои мысли вернулись к Рейсу и его манере писать в традициях старой школы, манере, которая когда-то была так важна для Эллен. Но сейчас ни об этом, ни о нем не было произнесено ни слова. И поскольку меня пригласили на ужин, она сообщила, что по такому случаю приглашен также и некий Кир Маккейл, художник и друг, человек, чьими работами она восхищается. И так далее, и так далее. Очень быстро по общему направлению разговора я смог понять, что Маккейл для нее больше, чем друг, – нежно любимый мужчина, часть ее ежедневной жизни. У него есть студия на площади Пигаль, не очень далеко отсюда, рассказывала она. Он шотландец, ставший приверженцем новой школы еще до их знакомства. Его тоже очень интересовал Пикассо. Надо сказать, что они даже познакомились в мастерской этого художника. Потом она добавила, что Маккейл – яркая личность, такой сильный, простой, честный, немного резковатый, типичный шотландец, но художник до кончиков ногтей, я это пойму, если узнаю его ближе.

Вскоре пришел сам Маккейл. Невысокий, коренастый, сильный, несколько вызывающий. Все как она сказала. Типичный житель шотландских вересковых долин, широкоплечий, весьма решительный и напористый, лет тридцати пяти или сорока. Но какой резкий контраст с Ринном или Рейсом – этого человека совершенно не интересовало, что на нем надето и какое впечатление он может произвести на окружающих! И тогда, и потом мне казалось, что он слишком угрюм и догматичен, причем не намеренно, не из желания кого-то обидеть. В тот вечер он был резким и бескомпромиссным. А по тому, как он бросил свою трость и шляпу в угол, я понял, что он здесь свой человек – тот, для кого Эллен теперь живет и работает, так сказать, ее духовный и эмоциональный наставник. Куда бы он ни пошел, Эллен следила за ним нежным и внимательным взглядом, что я про себя и отметил. Мой лондонский приятель подготовил меня к такой ситуации, однако я настолько увлекся Маккейлом, что вскоре даже забыл про его шотландскую картавость. Из последовавшего разговора выяснилось, что он жил и работал во многих городах: в Париже, Риме, Мюнхене, Вене, Лондоне. Он любит шотландцев, но сказал, что жить с ними не может. У шотландцев нет ощущения искусства, нет широты духа. Англичан он объявил слишком эгоцентричными и реакционными. А вот Париж и континентальная Европа его вполне устраивали.

Зная его предшественников и видя, как Эллен ловит каждое его слово и, можно сказать, ходит перед ним на задних лапках, я внимательно его разглядывал. И я понял, что наконец и, вполне вероятно, очень надолго над ней взял верх человек, который вряд ли отнесется к ней слишком серьезно. Этого от него не дождешься. А Рейс и Ринн? Фьють! Оба бесследно исчезли. Повсюду присутствовал Кир. Приготовил ли он рамы для двух своих картин, которые давно нужно было вставить в рамы и отослать? Проконсультировался ли он с кем-то – имя я позабыл, – с кем собирался проконсультироваться? Мне обязательно нужно увидеть студию Кира. Она намного симпатичнее, чем у нее. В один из ближайших дней, если я еще пробуду в Париже, мы там поужинаем. Иногда они ели там, иногда здесь. Из этого я заключил, что, хотя они занимали разные студии, они не скрывали, что живут более или менее одной жизнью. Некоторые вещи Кира я заметил в студии Эллен, а позже обнаружил некоторые вещи Эллен у него. Завтракали они тоже то здесь, то там. Но несомненным для меня было одно: Маккейл

на тот момент являлся хозяином этого разделенного дома, она по-настоящему, искренне и глубоко, его любила, а он руководил ее жизнью и настроением, как никто другой до него.

И все-таки, кроме того, я ощутил, что за его грубой, решительной манерой тоже скрывалось нежное чувство к ней, но все же не такое, как ее к нему. По крайней мере, оно не было столь очевидным. Кир был слишком молчалив, необщителен, закрыт. И несмотря на частые разговоры, которые мы с ним вели потом, иногда даже наедине, я так и не понял, была это просто нежная дружба с его стороны или все-таки любовь. Эллиен очень милая девушка, сказал он. И хорошая. Покамест такая жизнь их вполне устраивает. Ей нравится думать, что она создает нечто выдающееся. В каком-то смысле она выражает себя с помощью средств, изобретенных, к сожалению, другими, но постепенно они становятся почти что ее собственными благодаря ее мягкому и богатому темпераменту, что придает индивидуальность всем ее работам. Так я увидел, что Кир не был скупым, хотя и не особенно щедрым на похвалу в адрес Эллиен. Без сомнения, она ему очень нравилась. Они понимают друг друга, говорил он, и, кроме того, часто всюду бывают вместе. С его точки зрения, она чудесная, грандиозная, умная женщина.

Вскоре я понял, что больше всего меня привлекает в Кире его отношение к искусству. Как и говорил мой лондонский знакомый, Кир, решительно отказавшись от всех старых форм, даже от искусства новых ведущих художников, пытается найти что-то свое. И когда я бывал у него в студии – а я заходил к нему несколько раз без Эллиен, – мне становилось ясно, что это правда. Там были натюрморты и пейзажи, как акварельные, так и написанные маслом, а также изображения фигур – удивительные попытки передать твердость, массу, плотность, часто совершенно исключив красоту. По его убеждению, что он неоднократно подчеркивал, картина не должна быть просто поверхностью; вдобавок к длине и ширине у нее есть глубина, или, если угодно, внутренняя крепость. И радость, которая неизбежно возникает, когда художнику удастся ее выразить, может через настроение быть передана другому человеку. Признаюсь, в некоторых его вещах мне визуально передалась если не радость, то искренность его попыток. Некоторые картины Кира были довольно большие – примерно метр двадцать на полтора, но основная часть работ имела гораздо меньший размер, хотя во всех чувствовалось напряжение, переданное в основном в мрачных синеватых, серых и зеленых тонах; так что, глядя на них, ты начинал задумываться, куда подевался цвет, почему он ускользнул от художника. Действительно, все работы, как мне подумалось, несли на себе отпечаток бесконечного труда и упрямого воинственного настроения. Короче говоря, художник хотел побеждать, а не творить, он хотел заставить живопись исполнить его волю, выразить его ощущение реальности. Большинству картин – по крайней мере, я так это видел – не хватало легкости линий и композиции, широты, диапазона, радости цвета и формы, отличавших все вещи Эллиен. В сущности, одной из особенностей, делавшей их техникой совершенно различными, было мастерство Кира как живописца – живописца, умевшего передать прочность и глубину. Другая особенность принадлежала Эллиен – любовь к линии и цвету, независимо от глубины или даже правды. И именно понимание мастерства Кира привело ее к такому преклонению перед ним. Короче говоря, позже я пришел к убеждению, что он мог рисовать лучше, чем она, хотя у него было меньше предметного воображения, изысканности, романтичности. И все-таки, понимая, что с точки зрения техники его работы лучше, я отдавал предпочтение холстам Эллиен. Они были одновременно менее натуралистичными и более притягательными, иногда восхищая цветом и мыслью. Впрочем, когда несколько позже я в общих чертах высказал ей свое мнение, она не приняла моих слов всерьез. Картины Кира так глубоко и крепко выстроены, заметила она. Они такие настоящие. Естественно, он избегает почти с религиозной суровостью любого намека на бесплодную экстравагантность, которая так сильно портит работы других, но в этом-то и состоит его истинное величие, которое в один прекрасный день наверняка будет признано. Мощная живопись – вот к чему он стремится. Мощные вещи, возникающие из-под слоя красок. Тогда как в ее картинах нет настоящей глубины. Конечно, ей бы хотелось этого достигнуть, но до сих пор не удавалось.

Я никогда не слышал, чтобы она так говорила о ком-нибудь другом, и поражаюсь этой новой творческой скромности, если не самоотрицанию.

Той весной я довольно много виделся с ними обоими. Мы вместе гуляли по Парижу – Нотр-Дам, Сент-Шапель, Сент-Этьен-дю-Мон, церковь Мадлен, не говоря уж о некоторых более веселых и менее впечатляющих ресторанах и танцевальных залах. Что касалось жизни Эллен и Кира, то они существовали так, как им того хотелось. Приходили и уходили, когда считали нужным. Он приглашал или не приглашал ее принять участие в его делах, и она поступала так же. Он критиковал ее работы, иногда очень холодно, утверждая, что они слишком цветистые, слишком экзотические, что сама она слишком поддалась энтузиазму и манере того или иного футуристического лидера. Она же редко что-то говорила о его вещах, кроме того, что они хороши.

Однако, как я вскоре обнаружил, у этой пары было нечто, выходящее за рамки искусства, – физическое и, весьма вероятно, психологическое доминирование Маккейла над Эллен, причем совсем не против ее воли. В противоположность ее прошлому доминированию (в Америке) над Ринном и Рейсом, позволившему ей легко и, видимо, без колебаний бросить обоих. С Маккейлом дела обстояли иначе. Этот крепкий и, на мой взгляд, не особо располагающий к себе шотландец явно был для нее как свет в окошке. Насколько я ее знал, Эллен обладала ясным и образным видением мира, особенно когда речь шла о синтезе в искусстве. Тем не менее, когда рядом был Маккейл, в ее суждениях и высказываниях чувствовалась даже не робость, а скорее дипломатичность. Так, если в какой-то момент он начинал спорить, категорично и непреклонно, как он обычно умел, вместо того чтобы отвечать ему тем же, как, безусловно, она сделала бы в споре с Рейсом или со мной, она замолкала и переводила разговор в иную плоскость, что позволяло спору совершенно спокойно сойти на нет. Что касается других вещей – куда пойти пообедать, кого навестить или что посмотреть, в каком месте и в какое время встретиться или сколько времени чему-нибудь посвятить, – решал всегда Маккейл, а не Эллен. И в большинстве случаев было не важно, присутствует он при этом лично или нет.

И теперь я заметил или, скорее, почувствовал то, что заметил, когда впервые пришел в ее нью-йоркскую студию на Восьмой авеню. Была в Эллен какая-то домовитая женственность, озадачившая меня. Ибо как соединялась эта исключительная женственность с очень мощной и почти грубой натурой на стенах ее студии? Ведь эта натура была не только роскошной, богатой, цветущей – и вполне могла возникнуть из настроения, вызванного чувственностью, – ее картины, кроме того, казались свободными, многогранными, сильными. Они были более свободными, многогранными и, как я уже говорил, более красочными и образными, чем все, что создавал Маккейл. И вместе с тем ее удивительно мягкий, женский, даже чувственный голос и манера; тело, позволявшее ощутить едва заметное пульсирование плоти; глаза, руки, плечи, шея, щеки – все говорило о гармонии скорее физической, чем духовной. К тому же здесь, в парижской студии, среди ее работ я видел на ней наряды, которые подчеркивали ее чисто женскую привлекательность, – гладкие, ниспадающие, элегантные платья, даже передники, все из изысканнейших материалов. И духи, их едва уловимые ароматы вились вокруг. Я изучал Эллен не меньше, чем ее работы, но так и не смог связать одно с другим. Я легко мог соединить ее и Маккейла, потому что вне искусства они, в сущности, представляли собой мужское и женское начала. Но то, другое? Я долго размышлял над этой парой, после того как покинул Париж, и они никак не выходили у меня из головы.

А потом – года полтора спустя – из Парижа в Нью-Йорк приехала Эми Джин Мэтьюс, еще одна американская художница, писательница, поэтесса и любительница жизни, которая во время недавнего пребывания в Париже не раз встречалась с Эллен, Маккейлом и их друзьями. Теперь она привезла новости, вызвавшие у меня довольно смешанные чувства. Три полотна, представленные Эллен на последнем весеннем Салоне, привлекли большое внимание. Потрясающие сочетания фигур, цветов, драпировок и фонов, не привязанных к определенной мест-

ности, времени или климату, но навевающих сон о ее собственном экзотическом мире. И несомненно, выполненных более решительно и смело, чем все, что она делала раньше. Конечно, было очевидно, что она последовательница Пикассо, а также Матисса и других нео- и постимпрессионистов. Тем не менее в своих работах, как Ван Гог, Гоген и даже Матисс, она достигла того, что можно назвать собственной манерой: округлость, насыщенность, настроение, фантазия, целиком принадлежащие ей одной и явно говорившие о ее способностях и воображении. Поэтому в будущем от нее можно было ожидать поистине замечательных вещей. В этом критики были почти единодушны.

По словам мисс Мэтьюс, Элен очень вдохновили такие отзывы, она сосредоточилась и всецело отдалась работе, но вдруг совершенно неожиданно все перевернулось, потеряло смысл, умерло, потому что Маккейл, ее доблестный шотландский друг, в последние шесть-восемь месяцев начал терять к ней интерес и перестал смотреть в ее сторону. Вернее, как рассказывали, у него появилась другая девушка – Кина Макса, польская танцовщица, недавно приехавшая в Париж и благодаря своему искусству заставившая о себе заговорить. Она была молода и настойчива. Ею восхищались в кафешантанах, и Элен сама ее разыскала, чтобы написать портрет. С точки зрения дипломатической и полигамной это не сулило ничего хорошего, потому что таким образом Кина познакомилась с Киром, который в ту же секунду тоже захотел ее написать, хотя тогда об этом не сказал – но потом писал ее много, много раз. Короче говоря, к несчастью и отчаянию Элен, Кине, похоже, удалось существенно изменить художественное мировосприятие Кира, и в результате, по крайней мере нескольких последующих лет, он писал и ее, и других – вы не поверите – если не в манере, то в настроении, присущем Элен. Что могло быть ужаснее? Что это такое на самом деле – любовь или гипноз? Или гипноз, который и есть любовь? Но суть в том, что Кина безумно влюбилась в Маккейла, а он в нее. Через несколько недель, по словам мисс Мэтьюс, они начали тайно встречаться; узнав об этом, Элен Адамс впала в отчаяние. Ибо сразу же, следуя своей прямолинейной, предельно жесткой манере, Маккейл даже не сделал попытки скрыть это новое увлечение. Короче говоря, выложив Элен всю правду, он исчез вместе с Киной, и некоторое время о нем никто не слышал. Потом он появился, только чтобы сказать, что влюблен, – и, без сомнения, исчез навсегда. Элен осталась одна и ушла в себя. Моя знакомая мисс Мэтьюс сочинила теорию, по которой именно успех Элен, а не что-либо иное, возможно более яркое очарование польской выскочки, заставил Кира так измениться. Я, впрочем, сомневаюсь. Не тот был у него характер и не те личные качества, чтобы перед лицом женщины легко признать свое поражение, а уж тем более в нем увериться. С другой стороны, если учесть несомненные доказательства его главенства над Элен в прошлом и явную, крайне догматичную терпимость к ее жизнелюбивым настроениям в живописи, он вряд ли завидовал бы ее успеху. Во всяком случае, как мне казалось, он с большей вероятностью сожалел бы об этом. Если Кир и переменялся, то, скорее всего, потому, что увлекся другой женщиной.

Но сам я не слышал ничего определенного ни об Элен, ни о Маккейле. Прошло еще восемь месяцев. И вдруг письмо от нее. Датированное десятью днями ранее и посланное из Парижа. В нем Элен довольно искусно выпрашивала о художественной жизни Америки – основных агентах по продаже картин, впечатлении, которое произвел у нас футуристический метод; узнавала, не мог бы я помочь в организации выставки ее картин. Она закончила много новых вещей и добилась больших успехов. Кстати, подумывает на какое-то время вернуться домой. Пожалуй, в ее жизни Парижа оказалось слишком много. В конце стояла приписка, что Маккейл сейчас на юге Франции. Более ни слова.

Я честно написал ей все, что знал о ситуации в Нью-Йорке. Французская революция в искусстве пока не добралась до Америки. Совсем нет. Потребуется время, чтобы американцы доросли до этой новой фазы. После чего семь месяцев от нее не было ни строчки. Потом еще одно письмо. На этот раз из Лондона. Около четырех месяцев назад она покинула Париж.

В промежутке, после предыдущего письма ко мне, она вышла замуж – за англичанина – и переехала в Лондон. Маккейл... что ж, Маккейл оставил ее, увлеченный другой любовью.

Она, конечно, собиралась вернуться в Америку, но как раз тогда встретила мистера Недерби и теперь очень счастлива. Она рисует и готовит свою выставку в Лондоне. Если я надумаю приехать, то в любое время могу к ним заглянуть.

Сказать, что я был поражен, значит сильно приуменьшить мои эмоции, потому что после встречи с ней и Маккейлом в Париже я не сомневался, что она вряд ли обретет счастье с кем-то другим. Бывают определенные союзы, по крайней мере, если говорить о женщинах, которые ты интуитивно воспринимаешь как неизбежные. Есть властные, сильные мужчины, которые словно стальными крючками притягивают к себе чувственных, любящих их мужскую природу женщин. И не имеют ни малейшего значения существующие между ними незначительные разногласия или наличие у женщины неких талантов, отсутствующих у мужчины, или, наоборот, наличие каких-то особенностей у мужчины, которых нет у женщины или которых она ни в коем случае не может одобрить. Возможно, именно эти различия (и чем они больше, тем чаще и надежнее притяжение) как раз и связывают ту или иную пару. Как ни крути, в случае Маккейла и Эллен не оставалось никаких сомнений, что творчески и эмоционально она была его работой. Безусловно, она не копировала его, как могла бы при данных обстоятельствах, но совершенно очевидно, что благодаря его силе, его глубоким и дерзким мыслям, а не чему-то другому она ощутила и сохранила в себе ту высшую творческую эмоциональность, которая проявлялась в великолепных полотнах, вызывавших мое восхищение. И ей было совершенно не важно, что собственные вещи он ставил выше. Для того чтобы создавать свои картины, Эллен требовалась почва в виде напряженной и даже тяжелой реальности, физической и духовной сущности Маккейла. Как художница она опиралась на него, словно на скалу, и с этой тяжелой, но надежной физической основы уходила в полет. К тому же она обожала его таким, каким он был, и это делало ее особенной, такой, какой была она. Я имею в виду, не больше и не меньше, его духовную самоидентификацию, развитие его творчества в сочетании с неоимпрессионистическим французским течением в искусстве и ее собственным красочным и оригинальным видением мира. Если мои психологические изыскания чего-то стоят, то я прав.

Но теперь она снова замужем, и после Ринна, Рейса и Маккейла я смог по-настоящему почувствовать силу оглушившего ее удара. Сейчас я вспоминал, как если бы она сама мысленно обрисовала, две светлые студии – одну на бульваре Рошешуар, другую на площади Пигаль, высокие окна, такие разные собрания картин, веселые приготовления то к завтраку в одной студии, то к ужину в другой, а может, в одном из живописных городских ресторанов. Эллен, молодая, похожая на француженку в своих очаровательных уличных костюмах, и Маккейл, крепкий, похожий на пастуха. Наверняка она сейчас переживает черную полосу в жизни, и резвая полячка, украшая у нее любимого, маячит, как мрачный призрак, над пустыней ее некогда веселого мира.

А потом, не больше чем через год или месяцев через девять, от Эллен пришло еще одно письмо. Дела в Англии шли плохо как в творческом, так и во всех остальных смыслах. Конечно, причиной была война. Приходилось делать все, что угодно, только не рисовать, но единственное, что ее интересовало, было именно творчество. В остальном с ее прошлого письма ничего не изменилось, однако она едет в Америку, а если точнее, то будет здесь через месяц. Иностраный рынок и всю атмосферу так задавила война, что она хочет попробовать жить и работать в Нью-Йорке. Не знаю ли я какую-нибудь хорошую студию с подходящей атмосферой или в подходящем по атмосфере районе? (Я, конечно, порекомендовал Вашингтон-Сквер.) Не согласился бы я представить ее каким-нибудь интересным людям, которые могут дать ей советы по поводу местного искусства или, скорее, возможностей выставиться? Ее муж сейчас с ней не приедет, не может, но появится позже. (Это меня не слишком интересовало, поскольку я знал, что по своей воле она никогда не оставила бы Маккейла.)

Через месяц Эллен действительно приехала, и я увидел женщину, изменившуюся не столько физически, сколько духовно по сравнению с тем, какой я ее знал в Париже и Нью-Йорке. Интересно, что сейчас она была одета по последней моде, чего я не замечал в Париже, – полагаю, потому, что рядом не было Маккейла, который выказывал недовольство любыми украшениями или намеком на кокетство в ее платьях. Так или иначе, нынешние наряды Эллен свидетельствовали о желании подчеркнуть присущее ей очарование. И я над этим задумался.

Вскоре она сняла студию на 65-й улице, одну из нескольких, в здании, где на первом этаже, в подвале и в нескольких частных апартаментах под студиями располагался знаменитый в те годы ночной ресторан «Хили».

Все, кто знал довоенный Нью-Йорк, помнят, что здесь собирались актеры, художники, музыканты, литераторы, не считая бонвиванов, которые держали в этом районе такси, болтая между десятью вечера и четырьмя утра. Вдохновенные завывания флейт и скрипок, которые, хоть и слабо, слышались даже в студиях на верхних этажах, в том числе и у Эллен, должно быть, напоминали ей Париж. Так или иначе, но она поселилась здесь, и здесь, как я вскоре узнал, зайдя в гости, были собраны почти все ее лучшие работы парижского периода, не говоря о нескольких последних вещах – впрочем, на мой взгляд, не столь удачных, не таких красочных и не таких одухотворенных. Мы вместе пересмотрели их все, после чего я сказал ей, что ей достаточно просто сохранить созданное (может, даже этого уже не надо), чтобы получить заслуженное признание.

Она отметила, что одна из трудностей ее теперешнего положения состоит в том, что здесь, как и в Англии, фоном всякого искусства стала Великая война. Конечно, Америка еще не воевала, но результат был почти тот же. В Англии она вообще ничего не могла делать. Одна выставка, которую удалось организовать, не принесла ровным счетом ничего. Публику не интересовало искусство. Здесь, в Америке, все почти столь же безнадежно. Те, кто обычно покупал картины, теперь покупают «облигации свободы», художественных критиков и любителей живописи волнуют вести с фронта. Открывающиеся и закрывающиеся выставки не вызывают ни малейшего интереса. Организуются и проводятся аукционы, по большей части дорогие произведения страхуют, однако в конечном счете они возвращаются непроданными в аукционные залы. За хорошие картины больше нельзя получить денег, как нельзя прославиться, если не писать военные картины – окопные бои и авиационные налеты.

Тем не менее, как я заметил, Эллен довольно энергично взялась за дело: во-первых, ей нужно было организовать достойную выставку своих картин; во-вторых, вновь обрести интерес к Америке, а если получится, то и к жизни – случившаяся беда все никак ее не отпускала. Она усердно посещала всех основных агентов, занимавшихся выставками, но, по ее словам, не почувствовала с их стороны никакого энтузиазма. Слишком много проблем на фронте. Ей потребуются приличные деньги, чтобы выставить свои работы хотя бы на месяц, а цены на все остальное продолжают расти. К тому же, как она мне призналась, ее избранник не был богат. Это был союз «по любви», а «такие вещи, насколько я знаю, редко бывают связаны с деньгами». Я усомнился по поводу «союза по любви» да и в целом по поводу ее брака – зачем он ей понадобился? Ведь теперь она оказалась среди самого безумного искусства и самой богемной публики, какие можно было найти в тогдашнем Нью-Йорке. Более того, она пила, словно желая, как мне показалось, избавиться от душевных мучений. И иногда в таком неестественном возбуждении у нее вырывались слова об изменчивости жизни и даже искусства. Начинаешь свой путь, к примеру, молодой девушкой с вполне определенным представлением, чего тебе следует добиться в жизни и в искусстве, но есть у тебя способности или нет, есть у тебя энтузиазм или нет – ничто не гарантирует тебе успех или провал. И вот теперь война – как кардинально она перевернула или изменила все художественные ценности своего времени!

И однажды, только однажды, в приступе горечи она рассказала о своем несчастье – о длительных близких отношениях с Маккейлом. Ей казалось, или, скорее, она была уверена, что

по темпераменту и чувствам они были очень близки, почти навечно соединены неразрывной связью. И только посмотрите! Оба они – не один Маккейл, благоразумно подчеркнула она, – пошли каждый своей дорогой. Но я-то знал, что она лукавит. Своей дорогой пошел Маккейл, а не Элен. И, поступив так, вызвал у нее не только чувство растерянности, но и безнадежности, поскольку ее молодость почти прошла, да и в творчестве она так и не достигла прочного положения, о котором изначально мечтала.

И вот еще что. Я познакомился с англичанкой, знавшей Элен и Маккейла в Париже, а также ее нового мужа в Англии. Их брак вызывал у нее презрительное недоумение. Почему Элен выбрала этого Шерарда Недерби? Самый посредственный и несерьезный писака, критик, довольно безуспешно рассчитывавший когда-нибудь засиять в качестве... она едва могла себе представить, в качестве кого. Может, театрального критика? Но в его голове было полно феерических, диковинных идей, что значит быть настоящим художником! Он тоже бывал в Париже и знал Маккейла, и, без сомнения, тогда, как и сейчас, ему льстило занять его место и заполнить Элен. Но она? О чем она думала? Отомстить Маккейлу? Попытаться забиться в компании и объятиях такого неуравновешенного и психически нездорового существа, как Недерби? Абсолютная нелепость! У него, конечно, знатное происхождение. Но происхождение – для нее – так мало значит. Все это никак не могло продолжаться. Ей, конечно, уже тошно, и она наверняка приехала сюда, чтобы избежать поджаривания на этой новой сковородке.

Эти критические суждения прояснили умственное и эмоциональное состояние Элен, по моим наблюдениям беспокойное и суматошное. Но все-таки через различных знакомых, рекомендательные письма и тому подобное она добивалась и в конце концов, в общем, добилась хотя бы небольшого общественного интереса если не к ее искусству, то к ней самой и ее занятиям. Несколько критиков были приглашены к ней на чай. И она ухитрилась сделать свое имя известным другим. Я сам принудительно мобилизовал троих и привел посмотреть ее работы. Критики сомневались. Элен вернулась, не получив полного и окончательного признания иностранной аудиторией, и здешняя публика не видела ее работ. Поэтому требуется время. Как я понял, она должна была приготовиться ждать.

Но меня поразило скорее ее настроение и отношение к себе и к жизни, чем творческие усилия. Хотя Элен родилась в Америке, у меня сложилось впечатление, что она не может обрести твердую почву под ногами ни в стране, ни в собственной жизни. Несмотря на то что в творческом плане ею было создано очень много, она пребывала в чрезвычайно подавленном состоянии. Насколько я мог судить, она очень мало работала в мастерской. Вместо этого – что было совсем не похоже на ее настрой в парижский период, – казалось, она все время ищет встреч с мужчинами. Возможно, главной причиной было острое желание встретить на дорогах искусства человека сильного или выдающегося, а может, обладавшего обоими этими качествами и вновь попасть под его чары. (Ох уж эта неумиряющая человеческая мечта!) Но все же, с кем она знакомилась, – писатели, профессионалы в различных областях, художники, критики, – никто не производил на нее впечатления. Наоборот, в течение восьми месяцев, проведенных ею здесь, я видел лишь лихорадочные поиски чего-то – и никакой творческой работы, никакой уверенности, что она останется здесь или что ей хотелось бы остаться, никакой веры в то, что в Европе ее ждет что-то стоящее, и даже никакого упоминания английского мужа. Один, лишь один-единственный раз, разглядывая ее эскизы, я наткнулся на рисунок высокого, приятного, но очень обычного с виду англичанина чиновничьего типа, в облике которого вроде бы проглядывала, пусть в незначительной степени, культура и утонченность. «А это кто?» – «Ах, это Шерард. Мистер Недерби, мой муж». – «Ну да, конечно». Так промелькнул ее муж – быстро и почти незаметно, – не слишком интересный предмет для разговора.

И наконец записка следующего содержания. Или, скорее, часть записки. «Боюсь, я окончательно потеряла связь с Америкой. Не могу ее больше выносить и возвращаюсь в Лондон. Поскольку мои планы неопределенны, оставляю большую часть картин Урсуле Дж. Но я ее пре-

дупредила, что Вы можете выбрать несколько из тех, что всегда были Вам интересны. Можете повесить у себя, если хотите. Я не могу взять их с собой и не хочу, чтобы они достались чужим людям, хотя некоторые все же придется оставить на хранение. Не могу пока дать Вам свой постоянный адрес, но буду писать». Я попытался до нее дозвониться, однако она уже уехала.

Потом полгода молчания. Между тем, следуя ее предложению, я отобрал десять самых интересных работ и повесил их у себя, как она и хотела. Затем письмо из Лондона. Она живет там, но на лето собирается в Швецию. И снова долгое молчание. Через год – снова письмо, в котором она спрашивает о картинах и просит меня оказать любезность и присмотреть за теми, что оставлены на хранение. Еще она добавила, что вернула себе девичью фамилию и теперь зовется Эллен Адамс. Прилагался и новый адрес.

Следующее письмо пришло через два года. Никаких существенных новостей. Она все еще в Лондоне. В порядке ли картины? (В порядке, за исключением платы за хранение.) Еще один год и еще одно письмо с новым адресом – парижским – и сообщение, что вскоре она организует пересылку картин туда. Но они так и не были отправлены. Другого своего знакомого, жившего в Филадельфии, она попросила забрать картины из хранилища и держать у себя. Но о тех, что висели у меня (самых лучших), она не спрашивала.

Тем временем я навестил Урсалу Дж., заботам которой Эллен поначалу оставила большую часть своих работ. Урсала была американским иллюстратором и училась в Париже, когда там жила Эллен. Она хорошо знала и ее, и Маккейла. После отъезда Эллен из Америки я заходил к Урсале, но не стал обсуждать с ней нашу общую приятельницу. Урсала вела себя слишком сдержанно, чтобы я рискнул вдаваться в подробности личного характера. Но сейчас прошло столько времени и Эллен проявляла такое безразличие к своим картинам (десять оставались у меня, сто двадцать у Урсалы), что мне показалось, Урсала не против разговора. Почему Эллен так скоропалительно вернулась в Лондон? Почему она надолго оставила здесь свои картины? Почему такое потрясающее безразличие? Что теперь с нею случилось?

– Но разве вы не знаете? Разве вы никогда не видели Недерби?

– Нет.

– Но портрет ведь видели?

– Да.

– И как вам?

– Да, я понимаю. Но такое безразличие к карьере! И все картины брошены здесь! По-моему, они ей нужны.

– По-моему, тоже. Они прекрасны и должны сделать ей имя. Но не сделают. Они ей больше неинтересны, как неинтересна и она самой себе. Поэтому не сделают. Нужно верить в себя и в свою работу, чтобы это случилось, однако, боюсь, у Эллен больше нет такой веры. Они всего лишь призраки ее несчастного прошлого. За них некому заступиться.

– Но у нее же истинный талант художника. Те работы, что висят у меня, просто великолепны.

– Как и те, что здесь, у меня. Но Эллен с этим покончила. Разве что найдет другого мужчину – такого, как Маккейл. С ее стороны это была истинная любовь. И ничто ей его не заменит. Она этого и не хочет. А пока не захочет и не заменит, рисовать не будет.

– Но это же абсурд!

– Ничего подобного. Дело в том, что для Эллен искусство было дорогой к счастью. Она всегда умела рисовать. И сейчас может, причем даже лучше, чем раньше, но только не хочет. И не рисует. Единственная ее цель – счастье. А единственный способ его достичь – рисовать для любимого человека. Но она не может любить и рисовать без уважения, человеческого и художественного, а единственным человеком, которого она действительно уважала и творчески боготворила, был Маккейл. Он был ее жизнью, ее вдохновением и, думаю, до сих пор остался.

Когда он ее бросил, для нее все кончилось. Без него ничто не имело смысла. По-видимому, и сейчас не имеет.

– Сломалась!

– Творчески да. И все же Эллиен удивительная женщина. Великодушная, благородная, добрая. И умеет рисовать. Только теперь мне кажется, что она никогда не создала бы столько прекрасных вещей, если бы не Маккейл. Она безумно его любила. Наш общий знакомый, который был в Париже, когда Маккейл от нее ушел, говорит, что Эллиен почти потеряла рассудок. Не один месяц она ходила в каком-то оцепенении. Он говорит, что, если бы в тот момент не появился Недерби и не проявил заботу и сочувствие, она бы наверняка сошла с ума. В конце концов он уговорил ее стать его женой и переехать в Англию. А потом она оставила его, потому что не могла забыть Маккейла. Она сама мне говорила.

– Я о многом догадывался.

А позже – много позже – появился Маккейл, крепкий, успешный, решительный, добившийся здесь персональной выставки. Продал немало работ и уехал во Францию. Но без Кины Максы. Она его бросила. И теперь на его картинах мы видим ее, изображенную в довольно экстравагантной манере! «Подумать только!» – сказал я ему. Однако за весь разговор почти ни слова не было сказано ни о Кине, ни об Эллиен. Точнее, одно-два об Эллиен и ни одного о Кине. Он пришел в мою мастерскую и увидел несколько ее картин. Рассматривая их, он произнес: «Это, конечно, вещи Эллиен. Четыре из лучших. Меня всегда интересовало, где она их оставила. Ей следовало продолжать». И все. Больше ни слова. Ни вопроса, где она, – ничего. Я изумленно посмотрел на него. И чуть не заговорил сам с собой.

А ведь Эллиен уехала почти пятнадцать лет назад. И картины, оставленные у меня и у Урсулы Дж., до сих пор не востребованы. И ни одного письма – никаких известий – от Эллиен Адамс Ринн.

## Люсия

### Часть первая

Ее отец был русским, мать англичанкой. Она родилась где-то на Ривьере. После ее рождения мать стала инвалидом – или, по крайней мере, она так решила – и с упорством религиозного фанатика переезжала из одного санатория в другой. Но несмотря на переезды и встречи с людьми разных характеров и нравственных устоев, как однажды мне рассказала ее дочь Люсия, мать оставалась холодной и безучастной к жизненным наслаждениям, не признавала вина и даже самого невинного флирта в компаниях. По словам дочери, она совершенно не разбиралась в тонкостях любовной науки, полагая, что рождение ребенка – это единственная и конечная цель всякой любви. А поскольку врачи после рождения Люсии запретили ей иметь детей, она считала, что до конца жизни избавлена от выполнения своих супружеских обязанностей, и относилась к мужу по-дружески, как сестра, что, однако, не мешало ей заниматься собственным здоровьем и здоровьем своего детища. Она изо всех сил старалась дать дочери самый лучший уход и самое прекрасное образование, с неизменной настороженностью следя за ее физическим и моральным здоровьем и нанимая самых дорогих гувернанток, лишь бы не подвергать ее рискам и дурному влиянию обычной школьной жизни.

К сожалению, как часто бывает в подобных случаях, Люсию раздражала такая назойливая опека, и, как ни жестоко это было с ее стороны, она перенесла всю свою привязанность на отца, ее боготворившего. Лишенный возможности обрести счастье в браке, этот соломенный вдовец был в постоянных разъездах, то увлекаемый от жены, то влекомый обратно. Когда-то отец, по словам дочери, был самым молодым генералом русской армии, но жена уговорила его оставить военную службу и отправиться вместе путешествовать. Они могли себе это позволить, потому что каждый имел собственный доход, и мир, казалось, уготовил им бесконечные захватывающие открытия. Впрочем, так было до того, как у жены развилась эта неразумная озабоченность здоровьем. При этом одно из ее самых сильных убеждений состояло в том, что в России она не может жить здоровой и счастливой жизнью. Возможно, в какой-то мере ее английский консерватизм страдал от вольного, с оттенком варварства, духа этого народа.

Люсия рассказывала, что иногда летом, хоть и нечасто, они проводили несколько недель в имении родителей отца – в огромном деревянном доме с большой деревянной террасой и ведущими от нее ступеньками, которые исчезали в море серо-зеленой нестриженной травы. А дальше рос сосновый бор. Люсия говорила, что обожала это место и всегда будет его любить. Оно было близко ей по характеру – дикое и свободное. Когда у матери случались сердечные приступы и мигрени и она собиралась уезжать, Люсия умоляла разрешить ей остаться с отцом хотя бы до осени. Так несколько раз ей удалось провести лето с ним и несколькими старыми слугами семьи. По ее словам, она всегда вспоминала это время как самое счастливое в своей жизни. В любви – так называемой плотской любви – она никогда не могла повторить или достичь той степени радости, восхищения и понимания, которые испытывала в те дни, живя у отца, – скача по лесам ранним утром, гуляя по бугристым полям долгими северными вечерами или свернувшись калачиком рядом с ним, когда поздно вечером у камина он читал ей что-нибудь вслух. Возвращаясь к матери в Бад-Наухайм или По, Люсия страстно мечтала о встрече с отцом, ненавидела себя за то, что родилась девочкой и вынуждена жить с матерью, и начинала считать дни, вычеркивая их в календаре, до Рождества, когда он всегда приезжал с русскими подарками и рассказами об охоте на кабанов, о том, как старый дом выглядит после первого снега, как крестьянские дети катаются на санках с длинных, пологих гор.

Однако до отцовского приезда Люсия с матерью и очередной гувернанткой – у такого неблагодарного ребенка, как она, говорила Люсия, гувернантки не задерживались – отправлялись в Париж за покупками. Там мать заказывала ей очаровательные темные платья, в которых она выглядела очень мило, но старше своих лет. Люсия отказывалась стоять часами во время примерки, поэтому мать покупала ей платья в «Либерти», украшенные сборками и ручной вышивкой, – белые на праздники и синие на каждый день. Но если бы Люсия выбирала сама, то, по ее словам, она остановилась бы на простых матросских блузках и юбках, которые дюжинами приобретались в Германии: белых с вышитыми на них голубыми якорями летом и синих с красными якорями зимой. Более того, если мать не требовала переодеться, когда они ждали к обеду гостей или сами получали приглашение, она носила их постоянно.

Но одно событие, которое навсегда отвратило ее от вкусов матери, особенно запечатлелось в ее памяти. Люсии было почти четырнадцать. За два дня до Рождества они жили в одной из гостиниц Рима. Отец должен был прибыть восьмичасовым поездом, и они одевались, чтобы отправиться на вокзал его встречать. Мать подарила ей новое платье, купленное в Париже за тысячу франков. У него был круглый вырез и спереди вышивка из двух небольших букетиков тончайшей работы. Неожиданно Люсия заметила, что платье подчеркивает выпуклые линии ее юной фигуры с наметившимися женскими контурами. Мысль о том, что она может стать кем-то, кто не похож на уменьшенную копию ее обожаемого отца, привела Люсию в ярость. Красная от злости на природу и саму себя, она принялась срывать с себя платье. Вошедшая гувернантка попыталась ее остановить, и разразился ужасный скандал. Люсии было стыдно назвать истинную причину ненависти к платью. Мать же, ничего не понимая, твердо, но со слезами на глазах пригрозила, что на вокзал дочь поедет только в нем. К счастью, в этот момент зазвонил телефон. Послышался голос отца. Он стоял внизу, добравшись более удобным маршрутом, чем первоначально планировалось. Через несколько мгновений Люсия уже была в его объятиях, всхлипывая из-за своей беды.

В тот год после Рождества, по словам Люсии, отец уговорил мать поехать вместе с ним в африканскую пустыню. И, верная себе, как сказала Люсия о матери, та настояла на том, чтобы взять в путешествие новую гувернантку, поскольку считала, что дочь уже достаточно взрослая и ни на секунду не может оставаться без присмотра в стране коварных арабов. Хотя Люсии действительно нравилась гувернантка, миловидная смуглая итальянка лет тридцати, ее раздражало, что мать пытается навязать ей излишнюю опеку, связанную с принадлежностью к женскому полу. В результате она еще больше отдалилась от одного родителя и сблизилась со вторым, который принимал жизнь куда более естественно.

Однажды вечером, после того как Люсию отправили в постель, она услышала, как отец предложил матери отправиться в те кварталы Туниса, где жили исключительно местные. Там справлялась свадьба шейха, и предполагались удивительные танцы. Но его жена слишком устала, и на такой поход у нее не было сил. Поэтому отец пригласил гувернантку. На следующий день Люсия нашла мать в постели всю в слезах. Она клялась, что немедленно уезжает во Францию, и отказывалась видеть мужа, который стоял за дверью с озадаченным и несчастным видом. Отец честно рассказал Люсии, что накануне они с гувернанткой вернулись домой довольно поздно и обнаружили, что мать меряет шагами комнату в истерической ярости. Она оскорбила гувернантку, которая сейчас складывает вещи и собирается уезжать. Сам он хочет отвезти бедную девушку на станцию и заплатить ей жалованье за месяц. Люсия должна поехать вместе с ними.

Она навсегда запомнила, как сама признавалась, ту поездку до станции на окраине города в старомодном автомобиле. Она осветила ярким белым светом трудности брака – или, по крайней мере, отношения любых родителей. Люсия сидела между отцом и гувернанткой и держала каждого за руку. Женщина тихонько плакала, а когда приехали на станцию, отказалась брать лишние деньги. Отец сказал, что ей их вышлет. По дороге домой он несколько раз очень нежно

поцеловал Люсию, и та была счастлива, поскольку знала, что в ближайшие дни, которые потребуются матери для успокоения нервов, она станет отцу необходимым утешением. После случившегося Люсия чувствовала себя очень повзрослевшей и жалела обоих родителей.

В то лето, по словам Люсии, они ездили в русское имение в последний раз. Было начало мая 1914 года, на березах появлялись зеленые листочки, а леса были полны голубых цветов. Но к июню отец уже начал поговаривать о том, чтобы отправить их с матерью назад в Швейцарию или Голландию. Он не прерывал связей с военными кругами и знал, что разговоры о возможной войне становятся все более обоснованными, а когда убили эрцгерцога, для России война стала неизбежной. Поэтому в конце июня он усадил свое небольшое семейство в поезд с обещанием последовать за ними через несколько недель, как только уладит некоторые дела. Но тяга к прошлой военной жизни была слишком сильна. Он вернулся генералом в свой полк, где был принят с восторгом. Жена, испуганная и полная мрачных предчувствий, ожидала только плохого, зато Люсия ужасно гордилась отцом. Каждый день, по ее словам, она писала ему сумасшедшие маленькие записочки, которые впоследствии были найдены среди его военных приказов. Жена писала лишь с одной целью – упротить его вернуться к семье.

В августе, после первой безумной недели войны, они не имели о нем никаких известий. Люсия каждый день сбегала вниз по склону горы из шале, расположенного над Сен-Жерве, справиться, не было ли им писем, и ждала утренних телеграмм, приходивших по единственному в городе телеграфу. Однажды жарким днем в начале сентября при виде высокого, крепкого человека в бриджах, с рюкзаком на спине, тяжело поднимающегося вверх по склону к шале, Люсия сломя голову бросилась вниз по горной тропинке. Это был отец. Ему удалось взять на себя опасное секретное задание при условии, что он проведет неделю с семьей. Изображая туриста, застигнутого войной врасплох, он прошел через всю Германию, в основном бродяжничая и добывая пищу собственной смекалкой. Но нужную информацию он предоставил, и теперь Люсия могла целых четыре дня наслаждаться общением с отцом.

В следующий раз она увидела его зимой. В телеграмме, присланной из штаба в Петрограде, говорилось, что по состоянию здоровья его отправляют на юг. Они с матерью поехали на Черное море с ним встретиться. В ту минуту, когда поезд подошел к вокзалу, они увидели отца, который весело махал им рукой, однако, посмотрев ему в лицо, мать судорожно сжала руку дочери. Сама Люсия не могла поверить, что с отцом может что-то случиться. Но два дня спустя она уже стояла у постели умирающего. Она и в самом деле, по ее словам, не могла поверить, что смерть отца реальна, но, наконец осознав, что произошло, она вышла из комнаты на небольшой балкончик и там остановилась. Внизу, прямо под балконом, было какое-то стеклянное строение. Когда Люсия позже вспоминала об этом, она не могла утверждать, что ей в самом деле пришла в голову идея самоубийства, – эта мысль занимала ее не больше, чем рыдания матери и объяснения врачей. Люсия просто попросила, чтобы ей позволили там постоять, но в ее сознании, где-то далеко, однако вполне реально возник звон разбитого стекла.

Когда прошли первые недели, Люсия обнаружила, что даже такое горе, как ее, не длится все время с одинаковой силой. Ей было удивительно, что иногда она могла думать о приятных вещах и даже временами о своем будущем. Но она имела твердое намерение хранить это горе, потому что ничего ценнее у нее не было. Его рваные края она смягчала неожиданной верой в Судьбу, а длинные серые полосы смаковала, приправив всеми трагическими романами и стихами, какие только могла найти. Внешне, как рассказывала она сама, она была холодна и безразлична, даже жестока с матерью, считая ее переживания, носившие совсем иной характер, дешевой детской сентиментальностью. В свою очередь, мать делала все, чтобы разрушить ту изоляцию, в которую погрузилась Люсия, и возила ее по красивейшим достопримечательностям Италии, поскольку эта страна еще не вступила в войну. Но их путешествия были неизменно окрашены мрачным настроением дочери. Позже – слишком поздно, говорила Люсия, – она испытала к матери благодарность за то, что та обеспечила такое прекрасное обрамление

ее душевной скорби, и, когда впоследствии в жизни Люсии случались трагические события, она чувствовала, что не может страдать так же сосредоточенно и реально, как это было после смерти отца. Как будто тогда у нее сгорели какие-то элементы эмоционального аккумулятора и больше никогда она не сможет так живо реагировать на жизненные муки.

Когда одна знакомая предложила матери отправить Люсию в пансион, дочь обрадовалась этой идее, увидев в ней больше возможностей для потакания своему настроению. Мать была в замешательстве и поначалу утверждала, что не готова отпустить ее от себя, но в конце концов сдалась, и в октябре Люсия уже распаковывала чемодан с форменной одеждой в очень строгой гугенотской школе на Женевском озере, расположенной в большом деревянном шале на вершине длинного поля на горном склоне. Люсия, по ее словам, сразу же полюбила это поле, потому что оно напоминало ей нестриженую лужайку перед старым домом в России. К тому же вид вниз на Монтрё стал для нее символом утраченной и недостижимой красоты. Она смотрела и дальше, на Эвьян, лежавший на другом берегу озера, и ее мысли возвращались в прошлое, к той долине, которая простирается до Сен-Жерве, и ей виделся человек, взбирающийся на гору к шале, а потом вновь спускающийся с горы.

Территория школы занимала примерно пятнадцать акров, включая часть поля, небольшую сосновую рощу и заброшенный виноградник в конце длинной аллеи. Днем девочки гуляли по этой аллее сколько угодно, но, когда начинало темнеть, им разрешалось бродить только вокруг дома по гравиевым дорожкам. Однако почти каждый день в сумерках под тенью склоненных деревьев Люсии удавалось ускользнуть к краю виноградника. Здесь осталась терраса от снесенного бурей старого летнего домика, с нее открывался вид на горную вершину вдали, и здесь частенько сидела Люсия, глядя через озеро на эту вершину. Она осмеливалась бывать там только пять-десять минут, но и тогда ее часто пугала быстро спустившаяся темнота, шелест деревьев и виноградника. Но, вернувшись в освещенный холл пансиона и склонив голову в вечерней молитве, она ощущала тайный восторг, как будто только что бегала на свидание.

Ей были интересны и школьный распорядок, и уроки. Всякий раз, когда ей бывало тяжело, она, по ее словам, пыталась представить себе, что находится в армии и должна усердно трудиться, чтобы стать генералом. Значительно преуспев в одних предметах и серьезно отстав в других, она, как ни обидно, считалась, в общем, средней ученицей, когда дело касалось сочинений и упражнений. В спорте ее уровень был чуть выше обычного. Она легко заводила дружбу, но всегда избегала компаний, где собиралось больше двух-трех девушек. Они ее тяготили, потому что у нее уже сформировалась привычка вести себя по-разному с разными людьми и большое скопление народа было ей неприятно. Девушка, с которой они жили в одной комнате, как рассказывала мне Люсия, пытаясь описать свою жизнь, была веселой и миловидной и нравилась ей, хотя Люсия ее не понимала. Например, к школьным правилам ее соседка относилась со всем жаром нравственного чувства, но, с другой стороны, ничуть не смущалась, получая письма от молодых людей. Она даже призналась Люсии, что целовалась с двумя или тремя. Люсия, подчиняясь почти всем требованиям пансиона, потому что, как она говорила, ей было приятно это делать, находила такое поведение подруги странным и даже порочным, но, когда речь заходила о ее собственных желаниях, например в сумерках убежать к винограднику, тут она не знала колебаний. Люсия никогда не целовалась с мальчиками. Ей это не приходило в голову, хотя иногда, по ее словам, она сочиняла себе какой-нибудь трагический и страстный любовный роман, порожденный мрачной фаталистической литературой, которую она обожала. Однако Люсия никогда не представляла себе подробностей такого романа – подробности возмущали ее чувство, правда не нравственное, а скорее эстетическое.

Люсия рассказывала, что дважды в неделю девушки проводили целый день за изготовлением бинтов и повязок для Красного Креста. В это время им читались статьи и рассказы о войне, естественно тщательно очищенные от всего неблагопристойного и изложенные в исключительно героическом духе. В промежутках между другими занятиями они вязали свитеры

и прочие вещи, и, когда заканчивали их и упаковывали, им разрешалось написать маленькую записочку неизвестному солдату, который откроет посылку. По словам Люсии, она сочиняла нелепейшие высокопарные записочки, полные, как ей казалось, утешений с упоминанием Судьбы и с выражением нежности, которые словно выходили из-под горьковато-сладкого пера старой девы, а не здоровой юной барышни из пансиона. Кроме того, она цитировала Библию, Рубаи, Оскара Уайльда и всякую всячину из книг в доме отца. Но она воспринимала эти письма как священную обязанность и всегда воображала, как неизвестный солдат читает их ночью перед роковой битвой. Она считала ребячеством и нелепостью то, что ее соседка ставит маленькие крестики вместо поцелуев в конце каждого излияния своих чувств.

Тем не менее Люсия ощущала смутное желание иметь рядом кого-то, к кому могла бы испытывать взаимную привязанность. Поэтому однажды дождливым ноябрьским днем, когда ей и другим девушкам разрешили отправиться парами на прогулку в деревню, Люсия привела назад в пансион бродячую собаку. Чтобы пса не нашли, она привязала его у себя под кроватью, где он с удовольствием уснул. Во время ужина она спрятала в кармане немного мяса и хлеба и налила ему воды в таз для умывания. А когда легла спать, пес свернулся калачиком поверх ее ног. Это была довольно крупная собака, коричневый лохматый терьер, и, когда Люсия его гладила, он весь извивался от избытка чувств. Ночью стало очень холодно, в окно залетали капли дождя, и Люсия затащила собаку к себе под одеяло. На следующее утро сияло солнце. Пес выскочил из постели, счастливый и отдохнувший, но, к сожалению, принялся тявкать и прыгать, а Люсии утихомирить его не удалось. Услышав шум, явились сестры, и с собакой пришлось расстаться. В ту ночь, однако, Люсия долго не могла уснуть, все думала о собачьей – бездомной – судьбе. По ее словам, она тогда сказала себе, конечно, с очень мрачным и мелодраматическим видом: «Когда сама переживаешь трагедию, безусловно, глупо иметь счастливого коричневого лохматого пса. Ничего подобного жизнь мне не подарит. Но как хотелось бы, чтобы для него нашелся хороший дом и чтобы я кого-нибудь полюбила в доказательство, что достойна своей Судьбы». (Что она имела в виду под словами «достойна своей Судьбы», ей трудно было объяснить, но в общих чертах, как она говорила, идея состояла в том, что только люди страдающие и переживающие странные происшествия достойны того, чтобы жить.)

Именно такое странное происшествие случилось с Люсией после первых каникул, после ужасного Рождества с матерью, которая повезла ее в Париж и готова была делать что угодно, лишь бы не оставлять дочь наедине с воспоминаниями о прошлых Рождествах. На следующий день после возвращения Люсии в пансион солнце светило сквозь тяжелую золотую дымку. Воздух был наполнен теплом, что в январе даже казалось предвестником чего-то недоброго. В четыре часа девушки должны были играть в хоккей, но Люсию вдруг охватило желание увидеть в этой сияющей дымке свою гору. С хоккейной клюшкой в руке она побежала к террасе по шуршащим листьям аллеи. Озеро было окутано плывущими низко облаками; над ними, словно айсберг посреди океана, возвышался Дан-дю-Миди. Люсия опустилась на террасу, опершись на колени. Неожиданно она услышала шорох; по аллее кто-то шел. Она посмотрела в том направлении и увидела две фигуры сестер в одеянии гугенотской общины. Сестры шли в ее сторону. Люсия успела спрятаться, но из любопытства смотрела во все глаза. Одна была сестрой Бертой, учительницей музыки, жившей в соседнем шале, а другая... Люсии показалось, что она никогда не видела более худенькой женщины. Та походила на постыщегося монаха, которого Люсия однажды повстречала в монастыре неподалеку от Равенны. Шнурок, подпоясывавший ее серое одеяние, болтался так, словно под юбкой у той ничего не было. Когда они подошли ближе, Люсия заметила, что у незнакомки бледное, худое лицо и очень темные глаза. Она напоминала иллюстрацию к Бодлеру или По. Дойдя до конца тропинки, сестра Берта сказала: «Вот что я хотела тебе показать».

И тогда Люсия поняла, что незнакомка сейчас будет смотреть на ее вид с горной вершиной. Более того, она чувствовала, что это призрачное существо сразу поймет, что он означает. Если бы только сестра Берта испарилась...

За ужином Люсия старалась не глядеть по сторонам. Она слышала, как одна из девочек сказала: «Странная какая-то эта новая учительница музыки». Значит, она будет жить в доме сестры Берты, который также служил лазаретом и учебным классом для девочек, бравших уроки игры на фортепьяно. После ужина Люсия пошла к краю сосновой рощи, за которой скрывалось музыкальное шале. Внутри горел свет. Под стрехой в одном из классов горела лампа. Должно быть, новой сестре предоставили эту келью. Люсии стало интересно, поставили ли ей кровать. Конечно. Скорее всего, одну из пансионских железных коек. И все же Люсии было легко представить, как это бледное, истощенное существо, точно монах, спит на соломе.

С самого начала Люсия понимала, что никогда не сможет определить свое чувство к этой странной хрупкой сестре, которую, как оказалось, звали Агатой Тиэль. Она была из Эльзаса, много лет обучалась музыке в Германии, но была вынуждена распрощаться с многообещающей карьерой из-за угрожавшего ее жизни туберкулеза. Вслед за тем она несколько лет жила в санатории при поддержке брата, парижского архитектора. Однако брат был убит в первые недели войны, после чего Агата захотела стать сестрой милосердия. Но врачи сказали, что ей следует вести абсолютно спокойную жизнь. Протестантка по рождению, ее подруга Берта уговорила Агату вступить в гугенотскую сестринскую общину и помогать ей обучать девушек в этом тихом месте.

Вот и все, что удалось Люсии узнать о новой сестре, по крайней мере, она так говорила. В тот момент она собралась было написать матери и попросить разрешения заниматься музыкой, но потом решила, что это будет чересчур. Данте никогда не разговаривал с Беатриче, даже не дотрагивался до ее руки. Бездна обожание не умерло со Средневековьем... способность страдать, делавшая тебя «достойной своей Судьбы», значила для Люсии все. Сейчас перед ней возникло само воплощение романтической любви и трагедии, и оно улыбалось поразительно темными глазами ребенку, который, как было замечено сестрой Агатой, и сам не отводил от нее взгляда. На шестнадцатилетие мать послала Люсии подарки и большую коробку засахаренных каштанов, которые в ту пору трудно было достать. В воскресенье, когда девочкам разрешалось наносить визиты, Люсия пошла с этой коробкой в музыкальное шале. Она постучала в дверь сестры Агаты, но, когда дверь открылась, забыла, что собиралась сказать. Вместо этого, по ее словам, она просто протянула коробку своему кумиру, пробормотав что-то про то, что сама не любит каштаны и не хочет ли сестра Агата... Да, сестра Агата очень любит каштаны. Большое спасибо. Может быть, девушка зайдет и присядет? Нет, ей нужно еще навестить других учительниц. И Люсия, дрожа от радости и злости на саму себя, убежала к винограднику и просидела там весь оставшийся день. «Если бы я могла поговорить с ней, – думала она. – Но как я могу? Она на седьмом круге, а я еще только на втором. Она могла бы понять меня, но я никогда не смогу объяснить, что понимаю ее». Это было, рассказывала Люсия, все равно что слушать грустную, возвышенную музыку. Когда концерт заканчивается, хочется броситься к музыканту и что-то ему сказать, но в голову не приходит ничего, что не звучало бы плоско и банально.

Шли месяцы. Люсия была счастлива, потому что страдания доставляли ей удовольствие. У нее была, как она поняла позднее, особенная, чувственная и тонкая натура, уже горящая собственным, еле сдерживаемым огнем. Дни становились длиннее, и, как она объясняла, почти каждый вечер она старалась пройти мимо сестры Берты и сестры Агаты, гулявших вместе по аллее. Улыбка последней еще больше подталкивала Люсию к работе. В то время она изучала готическую архитектуру и читала литературу этого фантастического периода – про Окассена и Николетту, Элоизу и Абеляра, крестоносцев. Таким образом, все свободное время она проводила, погружаясь в более или менее запретные сказания из городской библиотеки или в рисование, которое страстно любила. Люсия уверяла, что ее зарисовки из реальной жизни были

действительно стоящими. Однако она предпочитала рисовать сцены с расстающимися или убивающими друг друга любовниками. А однажды создала очень точную копию портала базилики в Муассаке и его святых со впалыми щеками, с неестественно вытянутыми или скрещенными ногами, помещенных группами под изящными, тянущимися вверх арками. Сестра Агата, учительница музыки, хотела на некоторое время повесить рисунок в главном зале пансиона, но Люсия побоялась, что кто-нибудь заметит, что лица у всех святых одинаковые. И все напоминают сестру Агату.

В конце учебного года приехала мать, чтобы на лето отвезти Люсию в Испанию. Но та заставила мать пообещать, что она вернется в пансион на следующий семестр. Сестра Агата тоже должна была вернуться. Лето в Сан-Себастьяне показалось Люсии до неприличия веселым, если учесть тот факт, что шла война. И все же ей было приятно, когда однажды симпатичный молодой человек последовал за ней с пляжа и, не скрываясь, стал наводить о ней справки у гостиничных портье. Через несколько дней он нанес визит вежливости матери с рекомендательным письмом от ее английской знакомой и попросил разрешения нарисовать Люсию. Оказалось, что этот человек известный художник, очень вежливый и благовоспитанный, и по этой причине, хотя и под неусыпным материнским оком, Люсия ему позировала. Он назвал свой рисунок «Prima vera»<sup>8</sup>. Однажды, когда мать ненадолго оставила их одних, Люсия сказала художнику, что такое название ее оскорбляет, потому что она уже узнала жизнь и страдание. Но он лишь очаровательно улыбнулся и неожиданно поцеловал ее в губы. «Милое дитя», – сказал он, когда она отвернулась. Испытав и возмущение, и наслаждение от этого первого поцелуя, она взглянула на художника и удалилась, не совсем понимая, что при таких обстоятельствах следует делать.

Им встретилось несколько молодых людей, по мнению матери достаточно приличных, чтобы быть представленными Люсии, но они ее совершенно не интересовали, как, судя по всему, и она их. Люсия была слишком худенькая, ее черные волосы были слишком прямые, и говорила она о таких серьезных вещах, как Данте или Бернард Шоу – ее последнее открытие. В тот период Люсия полагала, что если мужчина любит ее, то разговор между ними излишен, а если не любит, то нет смысла тратить время и силы, размышляя о вещах, которые могли бы быть ему интересны. Ей хотелось понять, любит ли ее художник. «Если это так, – думала она, – то я скажу ему, что все безнадежно, что я люблю монаха». Но художник исчез так же вежливо, как и появился, и Люсия была рада, что наконец наступил сентябрь.

Она рассказывала, что настояла на приезде в пансион за пару дней до его официального открытия, надеясь, что до прибытия остальных сможет поговорить с сестрой Агатой. Люсия нашла сестру Агату все такой же бледной, но ее улыбка казалась не столь печальной. Она еще не облачилась в свое серое одеяние, на ней было темно-красное шелковое платье, очень длинное и перехваченное на талии. Люсии подумалось, что сестра Агата похожа на юных послушниц, подносящих благовония во время торжественной мессы. Но она ничего не смогла сказать и лишь пустилась в глупую болтовню о Сан-Себастьяне и о том, как рада снова вернуться в пансион и увидеть горы. На следующий день обе были уже в своих пансионских одеждах.

Прошел учебный год, и следующим летом у матери Люсии случился нервный срыв. Люсии тогда показалось, что, осознанно или нет, это стало реакцией не столько материнского сознания, сколько организма, желающего привлечь внимание странной и безразличной дочери. Вот такая у нее была душа, склонная к размышлениям и психологическим спекуляциям. Как бы то ни было, Люсия чувствовала, что должна остаться с матерью и в пансион не возвращаться. К тому же ей было почти восемнадцать, и она закончила изучение почти всех дополнительных курсов гугенотского пансиона, кроме естественных наук и математики. По ее словам, она полагала, что в Париже обучение рисованию, несомненно, будет намного успешнее. А поскольку

<sup>8</sup> Весна (*ит.*).

сестра Агата привязана к пансиону, она может к ней приезжать, когда захочет. Несмотря на войну, финансовое положение матери было на удивление прочным, поскольку отец оставил семье немалое состояние. Поэтому они сняли небольшой дом в Версале, и Люсии разрешили устроить в одной из комнат собственную мастерскую. Две тяжелые черные портьеры с вышивкой, когда-то привезенные отцом из Тифлиса, и рисунок портала базилики в Муассакке – здесь никто не обнаружил бы сходства с сестрой Агатой – были в ней единственным украшением. И в ноябре, после заключения перемирия, Люсия начала учиться в Школе изящных искусств, каждое утро отправляясь в Париж и к четырем часам возвращаясь домой. Так постепенно началась новая пора ее жизни.

## Часть вторая

Париж после перемирия. Великая кульминация и великий упадок. Не ожидая больше ни грохота бомб, ни публикаций списков убитых и раненых, парижане сидели в кафе и гадали, что будет дальше. Но ничего не происходило, на людей напала тоска. Они вновь объединились, но были разочарованы. Трудно стало работать, когда где-то там огромный компрессор перестал поставлять энергию.

В Школе изящных искусств, рассказывала Люсия, преобладал тот же дух. Он проник с воздухом улицы, с мыслями и воспоминаниями тех, чьи родные или возлюбленные прошли Великую войну. Большинство преподавателей участвовали в войне и были награждены медалями. Они преподавали почти машинально. Искусство теперь перестало быть таким уж важным.

Однако Люсия, по ее словам, считала иначе. Искусство представлялось ей столь значимым, столь прекрасным – столь верным и великолепным способом выразить всю глубину своего «я». Не простая, как видите, она была девушка. И Люсия с головой ушла в занятия, проявляя рвение студента-стипендиата, чей насущный хлеб целиком зависит от успеха в учебе. Однако только после трех месяцев обучения и только по настоянию главного профессора мать разрешила дочери рисовать обнаженную натуру. Хотя, как призналась мне Люсия с хитровой улыбкой, изменилось при этом лишь одно: теперь она могла забирать эскизы из школы и работать дома. Через три месяца рисования «живой натуры» она сделала заметные успехи.

Впрочем, с самого начала, как объясняла Люсия в этом месте своего рассказа, жизнь воспринималась ею во всем ее естестве, – несомненно, то была реакция на пуританство матери. Кроме того, она подружилась с теми, с кем ей приходилось ежедневно общаться. Один или два молодых человека приглашали ее пойти куда-нибудь вечером, но она не могла, потому что мать настаивала на возвращении домой вовремя. Вместо этого она соглашалась с ними пообедать, и они говорили об искусстве или о войне, причем Люсия всегда старалась не касаться личных тем. Едва ли молодые люди ожидали от нее большего. Для своего возраста она выглядела очень юной, по-детски худенькой, а ее прическа и одежда были совсем простые. Единственной близкой подругой Люсии стала русская девушка одного с ней возраста, которая, однако, выглядела гораздо старше и флиртовала более или менее серьезно как с учащимися школы, так и с профессорами. Звали ее Ольга, и жила она с родителями, которым удалось убежать перед революцией почти со всем своим состоянием. Люсия часто бывала у них на обедах и радовалась, что может поговорить на своем обожаемом русском языке. Ольга предпочитала, чтобы ее считали француженкой, но родители держались русских традиций и очень полюбили Люсию – особенно отец Ольги, седовласый красавец, который, по словам Люсии, вскоре начал оказывать ей отнюдь не отеческое внимание и всякий раз, как они оказывались наедине, пытался ее поцеловать. Кроме того, он часто водил обеих девушек на выставки, а иногда, с трудом добыв разрешение матери Люсии, на вечерние собрания к художникам. Мать отказывалась к ним присоединяться. На такие походы ей вечно не хватало нервов или сил. Видя, что никак не получается добиться настоящей любви от собственной дочери, она вернулась к прежней маниакальной заботе о своем здоровье и с помощью новых, чрезвычайно дорогих врачей, как выразилась Люсия, очень неплохо проводила время.

Люсия мало-помалу начала восставать против бесконечной материнской опеки. Перед ней был пример Ольги, часто встречавшейся с молодыми людьми, даже с теми, кого не одобряли ее родители. Обычно она, как заметила Люсия, договаривалась с молодым человеком, нравившимся родителям, что он зайдет за ней и ответит к другому, который ее уже поджидал. Одним из товарищей Ольги в этих преступлениях был Анри – бледный, худой аристократ со скромными средствами, по-настоящему милый, хотя и слабовольный. Люсии тоже хотелось

иметь хорошего друга, с которым ей было бы весело и чтобы он не пытался ее целовать или притворяться влюбленным. Она предпочитала общество мужчин, хотя не знала, что надо сделать, чтобы в нем оказаться. Мысль о поцелуях с кем-то, кого ты не любишь, казалась ей нелепой – не безнравственной – вопросы морали ее не смущали, – просто бессмысленной и эстетически противной. Она думала, что будет ждать идеальной, безумной любви, про которую начала понимать после чтения книг и наблюдений за окружающими юношами. Но вот что удивительно, как заметила она позже, внимание и поцелуи Ольгиного отца были ей не так неприятны, как приставания более молодых людей. В этом человеке присутствовала какая-то дьявольская галантность, и она ей нравилась – так она мне объясняла. А дружбы со сверстниками, о которой она мечтала, все не получалось.

Наконец в конце зимы Ольга устроила прием по случаю дня своего рождения. Люсия должна была переночевать у Ольги, а Анри – отвезти их на большой благотворительный бал. Впервые, рассказывала Люсия, она оделась так, чтобы выглядеть взрослой женщиной. Ольга сделала ей прическу, одолжила серьги, пудру и помаду. Люсия надела черное вечернее платье, предназначавшееся для чаепитий, с прорезями в рукавах, но оно прекрасно сидело на ее изящной фигурке. Анри заехал за ними вместе со своим братом, бледным юношей шестнадцати лет. Вчетвером они сели в такси, без умолку болтая и веселясь, доехали до ближайшего кабаре, где Ольга высадила улыбающегося брата со стофранковой банкнотой в руке в качестве награды за услугу, и оттуда уже втроем они покатали на квартиру некоего Рене Шале, последнего из покоренных Ольгой сердец.

Шале был высоким смуглым аристократом, который занимался автомобильным делом. Его небольшая квартира была обставлена с отличным вкусом. Люсия, как она сама признавалась, была девушкой простодушной, но не глупой. Очень скоро она поняла, что Ольга уже бывала в этой квартире. Впервые Люсия почувствовала уверенность, что ее подруга не девственница. Собственно говоря, позднее Ольга рассказала ей, что Рене стал ее первым настоящим любовником, хотя в тот вечер, как самая искусная кокетка, она притворялась весьма *blasé*<sup>9</sup>. Люсия не была шокирована, скорее слегка ошеломлена и ощущала неловкость из-за собственной невинности. По ее словам, она казалась самой себе неопытной и безнадежно отсталой от жизни, если говорить языком тогдашней молодежи. Однако после нескольких коктейлей с шампанским они поехали на благотворительный бал, где прекрасно провели время. Анри хорошо танцевал и вел себя так, словно ему нравилось общество Люсии, хотя она предупредила его, что, к сожалению, не может полюбить его так, как, по-видимому, Ольга любит Рене. Он ответил, что Люсия красавица и он рад с ней просто танцевать. Странное дело, но и Рене тоже оценил ее внешность и умение танцевать.

После нескольких бутылок шампанского Рене сказал, что хочет показать им настоящую ночную жизнь Парижа. Они отправились в ночной клуб на Монмартре, который тогда считался самым шикарным местом свиданий. Воображение Люсии воспламенилось. Все эти люди, вне всякого сомнения, любовники, но любят ли они друг друга? Как может эта маленькая красотка любить того жирного, засаленного дурака? Или эта роскошная пожилая дама того глуповатого мальчишку, которого она целует? Может, любить, в конце концов, ничуть не важнее, чем хорошо проводить время? Потом Люсия содрогнулась при мысли, что ей, человеку с душой, пришла в голову такая идея. Надо бы пожалеть этих бедных, лишенных романтики марионеток. И все же ей нравилось так развлекаться. Было приятно, рассказывала она, когда Анри прижимал ее к себе, да и не так уж трудно танцевалось танго после такого количества шампанского.

Потанцевав, они вернулись за столик, где обнаружили, что Ольга и Рене исчезли. На меню была нацарапана записка: «Встретимся дома в пять». Сейчас было почти четыре. Оставалось еще немного шампанского, и они, не торопясь, допили его между танцами. Внезапно Люсии

<sup>9</sup> Многоопытный, пресыщенный, видавший виды (*фр.*).

стало ужасно грустно. Захотелось плакать. Мир ничего не может ей дать. Она никогда никого не полюбит так, как сгорающую от болезни, похожую на призрак сестру Агату. Эта непонятная страсть издевалась над ней. После нее все, что она видела вокруг, ничего не значило, ничего, и Люсия сидела, полная печальных мыслей...

Когда Анри погладил ее по руке и поцеловал в плечо, она не возражала. Кто такой этот Анри? Зачем он ей? Из-за него ей стало еще грустнее. Наконец они взяли такси и поехали на квартиру к Ольге, но Ольга еще не вернулась, а у них не было ключа. Они ждали внизу почти до шести часов. Но Ольга так и не пришла. В конце концов Люсия отослала Анри и поднялась пешком на пять пролетов вверх – маленький электрический лифт слишком шумел. Может, Ольга пришла домой раньше их? Люсия опустила на пол перед дверью Ольгиной квартиры. Было очень холодно, рассказывала она, но ее это не волновало. Сна не было ни в одном глазу. Ей захотелось оказаться в Швейцарии, где, возможно, она смогла бы поведать сестре Агате о своих теперешних чувствах. Только бы увидеть ее... Люсию затрясло от холода и одиночества. Что это за серая тень вверху на лестнице? Неужели привидение? Вот бы это привидение умело говорить и сказало бы: «Дашенька, вели Дуне разжечь камин. Я приду, как только пригляжу за лошадьми».

Наконец она не выдержала и тихонько постучала. Последовала долгая пауза. Она постучала снова. Негромкие шаги и щелчок замка. Люсия в совершенном изнеможении, совершенно не удивившись, почти упала в руки Ольгиного отца. «Какая ты бледная, деточка!» – прошептал он и понес ее в небольшую библиотеку в конце квартиры, где для нее была приготовлена постель. Стал помогать ей снять платье. Люсия была слишком измотана, чтобы обращать внимание на то, что он делает. Когда она попыталась возражать, платье было уже снято. Он начал целовать, страстно и бесшумно, ее плечи и спину. Она отталкивала его, но тоже молчала. Потом опрокинулась на кровать, продолжая сопротивляться. Но вдруг, как она рассказывала, он встал на колени и зарылся лицом в ее волосы, как-то смешно застонав, словно ему было больно. Через мгновение он очень спокойно поднялся, как будто ничего не произошло, нежно ее поцеловал и вышел. Когда Люсия осталась одна, ее начали душить рыдания. Она была несчастна, совершенно несчастна. И в конце концов отключилась...

Когда она проснулась, был уже полдень. Она лежала в постели и раздумывала над тем, что произошло. В общем-то, ничего не произошло, и все же весь порядок вещей изменился. У Ольги, ее лучшей подруги, был любовник, а отец Ольги пытался ее совратить. Знал ли он об Ольге? Хотел бы он, чтобы у лучшей подруги его дочери был любовник? Отличается ли чем-то секс от любви? Захочется ли ей когда-нибудь одного без другого?

После того вечера, поскольку Анри был такой вежливый, нетребовательный и душевный, они с Люсией стали добрыми друзьями. Без всякой романтической близости, как она говорила, они обсуждали секс, любовь и своих друзей. И как она поняла впоследствии, это оказалось для нее очень полезно. Постепенно в ней появилось больше уверенности в себе, она начала одеваться более продуманно и стала выглядеть привлекательной молодой девушкой. Молодые люди теперь ее замечали, и она редко обедала одна, хотя ей все еще трудно было уговорить мать отпустить ее куда-нибудь вечером, кроме тех несчастных случаев, когда она оставалась у Ольги. Кроме того, она научилась свободнее общаться с мужчинами. Даже отец Ольги больше ее не пугал. Он вел себя с ней так же, как и до того удивительного утра, – с непринужденной галантностью, – возможно, чуть более раскованно, потому что теперь Люсия больше не отбивалась, если он иногда целовал ее украдкой.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.